

05
3-43

Handwritten signature in red ink, appearing to read "Hilda".

5
1971

Александр Яшин

КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ

П о в е с т ь

Так называемых «чистых» поэтов, вероятно, не больше, чем тех, в чьем творчестве поэзия более или менее естественно и органично сочетается с прозой. Примеры такого сочетания давно уже перестали восприниматься нами как нечто необычное.

И все же — то ли в силу не совсем еще изжитой привычки, то ли по каким-то другим, более тонким и сложным причинам — всякий раз, когда поэт впервые выступает с произведением прозаического жанра, мы склонны отнестись к этому если уж не с недоверием, то во всяком случае с любопытством, в некотором роде специфическим, особым. Ибо хотя в каком-то глубинном смысле, вероятно, и прав Иван Бунин, не признававший вообще «деления художественной литературы на стихи и прозу», простой наш читательский опыт говорит нам все же, что поэзия — это поэзия, а проза — это проза. Да, собственно, и сами поэты, за немногими, может быть, исключениями, отнюдь не считают, что, вторгаясь в область прозы, они не ступают на новую и в значительной степени непривычную для них почву.

Художник самобытный и яркий, прирожденный поэт, Александр Яшин к прозе шел долго и трудно. Автор широко известных поэтических книг, признанный мастер, он долгое время словно не решался заявить о себе в прозе. Да и в том немногом, что было опубликовано им при жизни (несколько рассказов и очерков), он точно боялся отойти слишком далеко от той привычной для себя стихии, от того лирического начала, которое органически было присуще ему как поэту. Опубликованные им прозаические вещи немногочисленны, однако в читательском сознании они успели утвердить Яшина-прозаика, пожалуй, не менее прочно, нежели его многолетняя работа в поэзии.

Теперь известен его архив. Несколько повестей. Ряд рассказов — законченных и незаконченных. Планы и наброски большого романа о деревне... Все это — не только произведения, запечатлевшие неповторимые черты яшинского дарования, его богатый художественный опыт, — это еще и свидетельство того, какими трудными, глубоко своими путями шел Александр Яшин к тайнам художественной прозы, к богатствам русского народного языка.

Мы предлагаем вниманию читателя повесть Яшина «Короткое дыхание». Вероятно, она, как и многие из других его неопубликованных вещей, могла бы и должна была бы подвергнуться определенной авторской доработке. Вполне возможно также, что некоторые ее моменты покажутся читателю спорными. Однако он, несомненно, оценит и глубоко оригинальную художественную мысль, лежащую в ее основе, и то мастерство, с каким мысль эта воплощена.

Л. Емельянов

Поначалу Раиса Райкова понравилась не самому Статыгину, а его жене Полине Васильевне. Так случается, что жены сами порой накликают беду на свою голову.

Супруги Статыгины вместе с большой группой архитекторов и художников ездили на экскурсию во Владимирскую область, осматривали памятники русской старины — монастыри, крепостные стены, остатки древней живописи в уцелевших храмах — и всемо радовались.

Была пора, когда весна переходит в лето, трава превращается в цветы, лиственный покрывается хвоей, а тополя и осины раздаются и зеленеют с такой силой, с такой неустойчивостью, что издали кажутся дубами.

Среди экскурсантов почти все были давно знакомы друг с другом, потому вели себя свободно, не рисовались, не кокетничали, не старались казаться друг другу умнее и осведомленнее в архитектуре и в живописи, чем на самом деле. Чистое небо, зеленые просторы, свежий теплый ветер кружили головы. Всем было так хорошо, что об истории архитектуры, собственно, и думать не очень хотелось. И если оказывалось, что осматриваемые сооружения относились не к двенадцатому и даже не к пятнадцатому веку, то многие переставали слушать экскурсоводов и старались незаметно отойти в сторону, куда-нибудь под деревья, на траву, на скамейки.

На зеленых полянах вокруг деревень, на луговых берегах реки Клязьмы пасся скот. Источенные за зиму коровы, овцы, свиньи еле держались на ногах от слабости и от счастья. Радуюсь свежему воздуху и солнечному свету, жеребята и телята носились по лужайкам и полям, задрыв хвосты, взбрыкивали, ржали, мычали и падали, сталкиваясь друг с другом и налетая на кусты, на деревья.

Можно сказать, взбрыкивали от счастья и молодые архитекторы и художники, впервые за весну вырвавшиеся из шумной знойной столицы, в которой в это время воздух не чище, чем в общественных гаражах.

Во Владимире-на-Клязьме все они, молодые, забралась под вечер на крышу знаменитого Успенского собора с его шлемообразными куполами и, поддавшись какому-то единому порыву, запели песню, в то время как под ними, внутри собора, шло богослужение. Очень уж пленило всех, что этот монументальный собор оправдал их надежды — оказался творением двенадцатого века. Особенно растрогали кресты, простые и могучие, без ненужных финтифлюшек-завитушек, одинаковые на всех куполах, каждый — словно два скрещенных богатырских меча.

Вокруг собора бугрились серые крыши, кое-где загорались окна домов — то ли от солнечного заката, то ли от внутреннего электроосвещения, текли в разные стороны неширокие улицы. Но песня с такой высоты вряд ли долетала до города. Конечно, не слышно было ее и внутри собора. И только живая, играющая излучина реки, казалось, реагировала на каждый звук ее, дымясь и посверкивая на перекатах.

Утром, оцепив древние Золотые Ворота, экскурсанты ворвались в их внутренние помещения, заняты главным архитектором города Владимира под свою семейную квартиру, и никакая деликатность не могла остановить их от деятельного и тщательного обследования всех ходов и переходов этого ныне начальнического убежища.

Сдержанным в этом веселом коллективе был разве только один человек — молодая женщина, не утратившая еще девической худобы, высокая, почти плоскогрудая, с лицом гречанки, но с характером, казалось, весьма необщительным, не южным. Когда молодые люди острили, она смотрела строго, словно выжидая, что кто-нибудь из них скажет, наконец, действительно остроумное слово. Редко-редко тонкие губы ее чуть трогала усмешка, а в черных глазах вспыхивал огонек, но тоже лишь на мгновение.

— Что за бука такая? — спрашивали про нее сослуживцы друг у друга.

— Новенькая, наверно. Вот и стесняется.

Иван Статыгин не обратил бы на новенькую никакого внимания, если бы о ней с видимым интересом не заговорила жена.

— Ты заметил эту девушку? — спросила Полина Васильевна, когда на спуске к реке Нерль экскурсанты с хохотом, чуть не кубарем, ринулись вниз и супруги остались одни, сходя по обрыву осторожно, бочком, словно боясь примять молоденькую сочную зелень. На таких спусках люди всегда либо кидаются вниз опрометью, сломя голову, либо осторожничают до смешного.

— Какую девушку? — равнодушно спросил Статыгин.

— Да вон эту! Оказывается, она совсем не новенькая. Она — химик и уже кандидат наук. У нее своя лаборатория.

— Какая же она девушка?

— Представь себе, да.

— Уже узнала?

— Я не узнавала. Мы просто разговорились. Она сама подсмеивалась над собой, когда сказала об этом. С нами она поехала, чтобы полностью

выключиться из привычной атмосферы и отдохнуть.

— Гм! — сказал Статыгин и протянул жене руку, помогая ей соскользнуть с последней крутизны.

На зеленом берегу реки Нерль, на холмике, стоит церквушка, одна-одинешенька, и называется она Спас Покрова на Нерли. Белая-белая среди зелени, с единственным куполом, прекрасная в своей простоте, с удивительной чистотой форм и линий, она стояла здесь, словно невеста, удалившаяся от мирской суеты, от шумных хороводов подруг, чтобы поразмышлять в одиночестве над своей девичьей судьбой, да пособирать луговых цветов, да повздыхать, да помурлыкать про себя любимые песенки, а может быть, и поплакать.

Подойдя к церквушке, экскурсанты окружили ее и замерли, любясь чудом, сотворенным руками человеческими, одни — молча, другие — восторженно вскрикивая.

— Какого же она века, эта красавица? — спросил кто-то по привычке.

— Какого бы ни была — красавица!

— Русская красавица!

— Да, это красота не привозная, а своя, наша, точное!

— И нестареющая!

— Интересно, что церковь эта кажется чудотворной, вся, снизу доверху. Не верится, чтобы ее тоже когда-то строили, складывали по камушку, по кирпичику. Ее не строили, она — словенно явленная.

В руках появились записные книжки, альбомы для зарисовок, цветные карандаши. Кто-то пожалел даже, что не взял с собой этюдника.

— Таскался с ним всюду, каждый день, и все ничего не делал, а сегодня, как назло, оставил в гостинице.

Внутри голых стен никакого пола давно уже, по-видимому, не было. Была сухая земля.

Иван Статыгин каким-то немислимым способом взобрался под купол церкви-часовенки и выглядывал оттуда с торжеством, с ликованием в душе то в один просвет, то в другой. Бескрайние зеленые дали — луга и рожи — открывались на все стороны. Речка Нерль текла по нескольким руслам; некоторые из них, старые, постепенно зарастая осокой и кустарниками, превратились уже в озерные рукава — пристанища для уток.

Сверху, из-под купола, Статыгин увидел, словно впервые разглядел, и Райкову. Она стояла в стороне от всех, высокая, стройная, сосредоточенная, стояла и смотрела на церковь, ничего не записывая, не зарисовывая. Если другие, приблизившись к Покрову на Нерли, притихли на мгновение и как бы посерьезнели, а потом зашумели еще больше, то Райса Райкова сразу стала здесь какой-то печальной, словно бы усталой и как бы отрешенной

от всего земного. Статыгину она казалась сейчас очень красивой и чем-то похожей на эту самую одинокую белокаменную церквушку со старинным названием «Спас Покрова на Нерли».

«Почему Спас Покрова — такая женственная, тихая, примиренная? — подумал он о церкви. А затем: — Почему она — такая тоненькая и, должно быть, застенчивая, робкая?» — это уже о Райковой.

— Ваня, не оборвись, пожалуйста! — закричала Статыгину Полина Васильевна.

— Памятник не развалите, Иван Ксенофонтович! — кричали товарищи. — Отвечать придется, он под охраной и едва цел.

Статыгин слушал их и смотрел только на Райсу Райкову. Ему казалось, что она тоже смотрит только на него одного, а не на Спас.

— Что-то в ней есть! — сказал он вслух и оглянулся испуганно: не услышал ли его кто-нибудь?

Услышать его, конечно, никто не мог, но жена, словно почувствовав его интерес к Райковой, тотчас же подошла к ней. О чем они там заговорили? Не все ли равно — о чем, пускай говорят. Статыгин отвернулся. Затем он осторожно, спиной вперед, нащупывая малейшие углубления и выступы в стене, спустился внутрь церкви, на землю, и вышел к своим.

Побродив еще с полчаса по цветам и травам, экскурсанты двинулись обратно.

Статыгин сказал своей жене:

— А она, кажется, ничего!

Жена обиделась:

— Я давно не видала такой красоты, ты просто чудись. Собор Василия Блаженного поражает своей пестротой, дикой яростью красок и фантазии, а здесь все предельно просто, но не менее сказочно. Мне жаль, что ты не почувствовал, как она хороша!

— Ну что ты, я почувствовал. Только я не о церкви, а об этой отроковице, о химичке. Ничего, кажется!

— Значит, ты все-таки заметил ее? — обрадовалась жена.

— Ты же сама хотела, чтобы заметил.

— А ты всмотрелся в нее?

— Я с ней не разговаривал. Но смотрел на нее.

— Значит, ты и в ней ничего не увидел. А это примечательный человек! Ты просто не понял, какой она интересный человек!

После такой горячей рекомендации Статыгин уже не мог не заинтересоваться Райсой Райковой. С ним это случилось не раз: пока жена не заговорит, не «подаст» человека, он почти не замечает его. Общительности Полины Васильевны, ее умению быстро сходиться с людьми, располагать их к себе и вызывать на доверчивые, со-

кровенные беседы Иван Статыгин всегда завидовал.

— Почему же она дичится всех? — спросил он.

— Это не совсем так.

— Умна она, что ли, очень?

— В меру, мне думается.

— Что же так сразу тебе понравилась в ней?

— Об этом я могу сказать. В ней нет мелкотравчатости. «Двенадцатым веком» ее не возьмешь. Она меряет жизнь не на сантиметры, мыслит и говорит не о пустячках. Главное, пожалуй, что вообще мыслит. Суждения ее решительны, и смелы, и независимы. Понимаешь — независимы, то есть они у нее свои. А это всегда интересно. С ней интересно разговаривать, ее интересно слушать.

— Устрой как-нибудь, чтобы и я послушал, — шутливо попросил муж.

— Обязательно надо познакомиться с ней, — всерьез поддержала его желание жена. — С интересными людьми надо знакомиться.

— Вот и познакомь!

Но помощь жены не понадобилась. Иван Статыгин стал слишком внимательно поглядывать в сторону Раисы Райковой, та заметила это и подошла к нему сама.

— Мне кажется, вы хотите со мной заговорить? — спросила она.

Статыгин растерялся от неожиданности: никогда еще ему не приходилось знакомиться с женщиной так просто, так необычно.

— Да, я думал... мы о вас тут... — начал он тянуть.

— Значит, я не ошиблась?

— Да, я хотел заговорить с вами. Только думал — как, с чего начать?

— Так пожалуйста, начинайте, вот я!

— Ну да, я хотел, но... — Статыгин тянул и оглядывался вокруг, словно боялся, что его кто-то подслушает.

— Выходит, что я же вам и помочь должна. Меня зовут Раиса Михайловна.

— Да, я уже знаю.

— Или вы боитесь, что нам не о чем будет разговаривать? Вы кто — архитектор или художник? Ваша жена сказала мне, что вы хороший человек. Это меня устраивает.

Люди шли и впереди и сзади них, по широкой проселочной дороге и по сторонам дороги, в цветах и травах, но разговаривать им двоим никто не мешал, и никто не мог их слышать — каждый занимался своим делом.

Статыгин более внимательно посмотрел на Раису Михайловну. Да, она была интересна, даже красива. Лицо тонкое, чуть бледное, лоб открытый, крупный — такие открытые лбы, женские ли, мужские ли, неизменно нравились Статыгину. Но ее манера держаться, как это ни смешно, поначалу почти испугала его, по крайней

мере, он опешил. Что-то было в этой манере дерзкое, резкое и, конечно, совершенно не женское. И глаза смотрели дерзко, высокомерно. А глаза-то ее прежде всего и обращали на себя внимание.

Одета Райкова была просто, без каких бы то ни было претензий на моду, но хорошо, со вкусом. К ее тонкой фигуре шел светло-серый костюм — удлиненный пиджак, узкая плиссированная юбка и глухая белая кофточка, белая до солнечной яркости.

— Рассмотрели? — спросила она, разглядывая, в свою очередь, Статыгина. — Кажется, только на волосы не обратили внимания? Да еще на уши — есть сережки или нет? Сережек у меня нет, не ношу, потому что уши не проколоты.

— Простите! — растерялся опять Статыгин.

— Пожалуйста. В людей вглядываться следует, и лучше при первой же встрече. Я на вас тоже воззрилась.

Растерянность на время оставила Статыгина, он овладел собой.

— Весьма польщен, что обратил на себя ваше благосклонное внимание! — сказал он с вызовом.

— Не совсем так, — ответила Райкова. — На вас обратила мое внимание ваша супруга, а не вы. А она располагает к доверию. Но о благосклонности пока говорить рано, я вас еще не знаю. Между прочим, вы так и не ответили на мой вопрос: кто же вы? Я имею в виду вашу работу.

— Да я так, знаете...

— Нет, не знаю.

— А вы — химик, я слышал? — спросил в свою очередь Статыгин.

— Точно. Есть такая профессия. Вы — «так», а я химик. Еще говорят иногда — химичка.

— Вы любовались этой церковью, Спасом Покрова на Нерли? Что вам нравится в ней?

— Весьма польщена, что вы находите возможным заговорить об архитектурных памятниках с химиком. Вас действительно интересует мое мнение?

— Ну что вы задираетесь? — опять с вызовом, почти резко упрекнул ее Статыгин.

Райкова даже замедлила шаг и взглянула на него сбоку, словно поразившись прямой вопроса. Затем ответила:

— Вы правы. Не буду задираться, обещаю.

— И языком говорите таким, будто в стародавнем романе, замедленным, с приседаниями.

— И относительно языка согласна. Но, кажется, мы оба так начали, с приседаниями, как на аристократическом балу.

— Двадцатый век, не до приседаний, — начал уже шутить Статыгин.

— Хорошо, хорошо. Давайте короче. В Спасе этом понравилась мне определенность, какая-то математическая чистота соотношений деталей. Естественность форм и размеров — вот что понравилось. Это как в хорошем литературном произведении — все естественно и убедительно. Читаешь и совершенно забываешь, что кем-то все написано, сочинено. Видишь только волнующее течение жизни, настоящей жизни, и следишь за ней. Должно быть, никакие привходящие обстоятельства не мешали архитектору быть художником, мастером своего дела, ничто не лишало его вдохновения. Он строил церквушку, как песню пел.

Райкова сказала все это, и тонкие губы ее вдруг скривились:

— Ну, как сейчас, коротко выражаюсь?

— Как в двадцатом, в атомном! — засмеялся Статыгин.

Улыбнулась более определенно, не криво, и Райкова.

— Кстати, о веках, — сказала она. — Почему-то ваши товарищи особое приращение питают к сооружениям древним. Подай им двенадцатый век, и только. А разве в восемнадцатом, в девятнадцатом ничего идеального создано уже не было? Сплошные излишества?

— Излишества тоже не всегда плохи. Правда, тогда они уже не называются излишествами. И украшательством не называются.

— Злободневная терминология. А вот этому Спасу не нужно никакое украшательство. Его сила — совершенство линий. Небо красиво и без фейерверков.

— Без поэтизмов.

— Вот, вот, — подтвердила она. — Поэзия без бумажных цветов.

Статыгин снял свой легкий синий плащ и нес его на руке. В правой руке у него была ивовая палочка, только что вырезанная в береговых кустах, он не опирался на нее, а размахивал ею, сшибая головки первых желтых цветов.

Статыгин и Райкова были одинакового роста и шагали в ногу. Но рядом со Статыгиным Раиса Михайловна, вероятно из-за своей худобы, казалась значительно выше его.

— Не сбивайте цветы! — сказала она.

На этом они расстались.

Красно-желтый московский автобус с надписью «служебный» сиял в стороне от дороги, уже готовый к отправке, и пофыркивал, и ржал, будто застоявшийся битюг. Недалеке от автобуса валялась бутылка из-под водки.

— Какого она столетия? — спросил кто-то.

Посмеялись, но уточнять не стали, заняли свои места, поехали. Статыгин сидел рядом со своей радостной женой.

Шумели все так, что не слышно было ничего, даже работы мотора.

Суздаль предстал перед глазами, как сказочный город Китеж. Издали он показался чистеньким, целехоньким. Но только издали. Страшные раны были нанесены этому удивительному городу-музею, и не только временем, но и небрежением нашим. Далеко еще не все эти раны залечены в нем, хотя в последние годы Суздаль постепенно превращается в архитектурный заповедник России.

Директор Суздальского музея Алексей Дмитриевич Вагранов рассказывал экскурсантам о вверенных ему владениях историю за историей, одну легенду занимательнее другой.

В Покровский монастырь Василий Третий сослал свою жену Соломонию Сабурову за бесплодие. А Соломония, не будь душой, взяла да и родила в ссылке своего Георгия. Новая жена Василия Третьего тоже оказалась бесплодной. Проходит год, два, три — нет наследника. Тогда родители ее соорзили, что дело может обернуться плохо и для нее, и решили заранее принять соответствующие меры. Меры приняли так удачно, что жена Василия родила, и не кого-нибудь, а будущего Ивана Грозного.

Суздаль был местом ссылки многих царских и не только царских жен, попадавших в немилость за разные провинности, а то и просто по извету. Здесь они жили, чем-то занимались, рукодельничали и умирали.

Ликующих экскурсантов никакие рассказы Вагранова не печалили. Слишком уж была погода хороша и воздух чист. Весело было бегать по земле, а не по асфальту, никуда не спешить, никому ни о чем не докладывать.

Долгое время после этой экскурсионной поездки Статыгин не встречался с Райковой и, наверно, забыл о ней. Но Полина Васильевна встречалась с Райковой где-то по делам службы и всякий раз восторженно рассказывала о ней.

— Раиса — человек нерядовой, незаурядный. В ней много своеобразия, незнакомого нам, редко встречающегося, к ней следует присмотреться, — говорила она, вернувшись с работы и собирая ужин.

— В чем ее своеобразие? — спрашивал муж. — В том, что она замуж не выходит, целиком посвятила себя науке?

— Да нет же! В том-то и дело, что она, по-моему, мечтает выйти замуж, да не может.

— Раю в рай грехи не пускают?

— И грехов у нее нет. Тебе кажется смешным то, что я тебе рассказываю. Но это же не смех, а горе. Трагедия. Не может она замуж выйти, как бы ей ни хотелось. Рада бы, да не может! Ну за кого она пойдет? За

первого оборота? Зачем это ей? И куда она приведет своего мужа, она сама в общежитии живет!

— Странно как-то! — удивлялся Статыгин. — Говорим об ученом человеке — и вдруг не может выйти замуж... Трагедия... Словно мы издеваемся над ней.

Полина Васильевна пристально взглядывала на мужа, тянула: «Да-а!» — и замолкала.

— К тому же мне она представляется человеком совершенно иного характера, чем ты думаешь, — продолжал Статыгин. — Это химичка-фанатичка либо железобетонная профсоюзная активистка. Были бы вовремя собраны профвзнос, а остальное — мелочи жизни, ниже ее достоинства. По доброте своей ты опять все приукрашиваешь в человеке, видишь поэзию там, где ее нет.

Полина Васильевна больше не вступала в разговор.

Статыгин узнал телефон Раисы Михайловны и позвонил ей в общежитие.

— Я вас слушаю! — услышал он начальнический, почти не женский голос, когда Райкову позвали к телефону и по коридору простучали ее каблук.

— Здравствуйте, Раиса Михайловна! Не забыли?

— Что вы, как можно забыть! Кто это говорит?

— Из двенадцатого столетия, Иван Статыгин.

— Какой Иван Статыгин? Ах да, простите! Иван Ксенофонович Статыгин?

— Так точно!

— Слушаю вас.

— На улице идет дождь, не видать ни зги. Самое подходящее время для прогулок.

— Не понимаю вас. Что вы хотите?

— Я хочу увидеть вас.

Сказав это, Статыгин, казалось, исчерпал всю свою изобретательность и решительность. Замолчала на некоторое время и Райкова. Затем она спросила:

— У вас есть ко мне дело?

— Что вы, Раиса Михайловна, служебное время уже кончилось.

— И вам действительно нужна встреча со мной?

— То есть как? Я сказал, что хочу видеть вас...

— Что значит «то есть как»?

Статыгин мысленно обозвал себя дураком. Но отступать уже не хотелось:

— Может быть, вы все-таки позволите лицезреть себя?

Райкова ответила тем же:

— Может быть, вы все-таки ответите: вам действительно это очень нужно?

И Статыгин разошелся на себя окончательно.

— Нет! — сказал он. — Уже не нужно. Слишком много вопросов. Такой проверки я вынести не смогу.

— Очень жаль! — сказала Райкова и повесила трубку.

После этого Статыгину действительно захотелось ее увидеть. И очень. Он думал: а вдруг она и есть *то самое*, чего ему порой не хватает в жизни? То самое, о чем он давно мечтает, чего, казалось, еще не встречал в жизни, а ищет всю жизнь?

Они стали встречаться.

Райкова оказалась человеком с ясным, но несколько скептическим умом. Весьма возможно, что этот скептицизм шел от ее недоверчивости и мнительности. Казалось, ее пугала малейшая возможность всерьез увлечься кем-либо, чем-либо. Она не позволяла себе даже намеков на чувствительность, на восторженность, будто все время заслонялась от яркого солнца. Обжигалась она, что ли, много и во всем разуверилась или просто устала от всего?

— У вас были большие потрясения в жизни? — спросил ее Статыгин.

— Что вы называете большими потрясениями? — в свою очередь спросила его Раиса Михайловна.

— Комментировать не буду.

— Пожалуйста.

— Почему вы все время боитесь, что вас кто-то может обидеть?

— Потому, вероятно, что у всякого в жизни бывали и есть какие-то свои маленькие трагедии.

— У вас есть?

— Конечно.

— Только — маленькие?

— В соответствии с местом, занимаемым человеком в истории общества, в жизни.

— Маленькие трагедии, конечно, держатся в великой тайне?

— Конечно, в великой.

— И вы не поделитесь этой тайной?

— Неужели вы полагаете, что переживания и боли одного человека могут быть понятны другому?

— Боитесь обид каких-то? Я вас не обижу.

Райкова засмеялась:

— Мне бы не хотелось, чтобы вы оказались слишком наивным.

— И любознательным?

— Это бог вам простит.

В общежитии научных работников коридорная система. С обеих сторон совершенно одинаковые комнаты. На каждом этаже по две кухни, по две комнаты с ванной и умывальниками. А этажей шесть. Сколько жилых комнат было на шести этажах, никто точно не знал. В каждой комнате четыре человекокойки, как говорил комендант, — для девушек либо для мужчин. В редких комнатах обитали се-

мейные жильцы с детьми, на них смотрели как на счастливиц. Мужу и жене без детей отдельная комната не предоставлялась: слишком скоро переженились бы все, а мест в общежитии и так постоянно не хватало.

Раиса Михайловна отгородила свою койку ситцевой ширмочкой, вход за которую был запрещен раз и навсегда для всех без исключения, в том числе и для Ивана Статыгина. Он как-то сказал ей:

— Можно подумать, что у вас за ширмой домашняя лаборатория и вы производите там секретные химические соединения.

— Никаких соединений, ни химических, ни физических, — там я одна на всем свете.

— Немного же вам места потребовалось для одиночества.

— Четыре квадратных метра. Больше не положено.

Поначалу Статыгин отнесся к запрещению без достаточной серьезности и попытался заглянуть за ширму. Райкова побледнела, губы ее, и без того тонкие, совершенно исчезли с лица, глаза вспыхнули враждебностью, злобой. Кричать она не стала, но когда заговорила, Статыгин не узнал ее голоса.

— Я вам сказала — не входить. В чем дело?

Ничего подобного он не ожидал. А когда Раиса Михайловна вышла из-за ширмы, лицо ее и шея были влажные. «Ох, и нервная, должно быть!» — сообразил он.

Раиса Михайловна заметила это и, кажется, рассердилась еще больше. Она вышла в коридор и не вернулась, хотя они только что условились пойти вместе в кинотеатр. Статыгин посидел в комнате минут десять, поразговаривал с девушками — соседками Раисы Михайловны, Ниной и Виолеттой, аспирантками, — вышел в коридор, прошагал по нему несколько раз из конца в конец, снова постучался и вернулся в комнату.

— Странно! — бормотал он. — Куда же она могла исчезнуть?

Виолетта была тоже химиком, работала вместе с Райковой, и она ответила:

— Странно другое: вы, оказывается, еще совсем не знаете Раю. А мы думали, что вы ее старый друг.

— Ну хорошо, но где же она? У меня билеты на руках.

— Если бы иметь дело не с Раисой, а с удовольствием пошла бы с вами. А так выбрасывайте билеты либо идите один. Она не вернется.

Встретились они снова только недели через две. Райкова ни одним словом не напомнила Статыгину о происшедшем и ему не дала об этом заговорить. Иван Статыгин не тосковал в течение этих двух недель и не очень-то понимал, почему, собственно,

они встретились снова. Инициатива, впрочем, шла от него, поэтому он недоумевал еще более.

Общежитие не располагало к продолжительным и сердечным разговорам, а больше встречаться было негде. Началась зима, морозило, мело, приходилось поднимать воротник пальто. Он не находил разговора. Но когда Райкова начала рассказывать о своей работе, о новых химических соединениях, найденных ею и обещающих интересные перспективы, о полимерах, как и для чего они могут быть использованы человеком, Статыгин забыл о времени. На него повеяло сказками детства о скатертях-самобранках, о сапогах-скороходах. Впервые в жизни он почувствовал, что наука эта не менее романтична, чем живопись, поэзия, астронавтика.

— Фу, черт, вот тебе и химия! — воскликнул он.

— Не ожидала, что вы такой невежественный человек! — кажется, всерьез удивилась Раиса Михайловна.

— Меня до сих пор интересовали вы, а не химия.

— Что же вы нашли во мне кроме химии?

Статыгин промолчал. Он пока и сам не очень разбирался в этом. Предположение, что он нашел то самое, пока ничем не подтверждалось и не переходило в ощущение.

Может быть, ему просто хотелось поиграть в любовь, в интрижку, а может, не давало покоя любопытство, возбужденное рассказами жены? Говорят, в любви время свое возьмет. Но вот прошло уже немало времени, а любовь никак себя не проявляла, и любопытству пища не находилось. Его интерес к Раисе Михайловне начал остывать. Да и Райкова, кажется, не испытывала на себе благотворного влияния времени, длительные разлуки, по-видимому, нисколько не огорчали ее. Статыгину иногда казалось, что им больше интересуются подруги Райковой — Нина и Виолетта, девушки молодые, милостивые и далеко не такие ожесточенные аскеты-ученые, какой выглядела Раиса Михайловна. Третья подруга в счет не шла — этому молодому аспиранту было уже далеко за сорок.

Но рассказ Райковой о своей научной работе пробудил любознательность Статыгина, а вместе с этим и новый интерес к ней самой. Все-таки постепенно начал раскрываться для него этот чрезмерно настороженный и словно бы чем-то ушибленный человек.

— Что же вы замолчали? — спросила она. — Думаете?

— Думаю над тем, что вы, вероятно, унаследовали свою страсть и способности от своих родных. Ваш отец занимался тем же? И мать?

— Нет. А вы уже и до родных моих дошли?

— Я опять не хотел вас обидеть ничем.

— Отец мой — ныне заведующий торговделом райисполкома. Занимал посты и повыше. Но, по-моему, главным занятием его в жизни были женщины, и жены в том числе. Он в свое время был, как мне кажется, интересным мужчиной, но мужчина — что! — он всегда был начальником, а это на районных афродит действует очень сильно. Моя мать состарилась с ним к тридцати годам. Первая моя мачеха до тридцати не дожидая, отец извел ее своим высокомерием и успехами у других женщин. Второй мачехой стала моя школьная подруга — ей и сейчас еще нет тридцати лет. Тоже мученица. Отец, кажется, скоро снова станет молодоженом. А я вот, как видите, насмотрелась и до сих пор ни на что решиться не могу. По правде сказать, страшновато. И вряд ли эстетично.

Пока Раиса Михайловна рассказывала о своем отце, Статыгин вспомнил о жене, подумал о том, что сам он вот уже не первый раз сидит здесь и что это начинает походить на любовные свидания, и ему стало неловко за себя. Но главное, что Райкова, знакомая с его женой, также, вероятно, помнит об этом всегда, и что-то она думает о нем? А что думает она о себе самой?

Статыгин, чтобы преодолеть в себе эту неловкость, решил сострить:

— Все-таки неплохая у вас наследственность, Раиса Михайловна!

Райкова резко вскинула голову:

— Вы что — циник? Я же вам не анекдоты рассказываю. Или вы просто плохой человек?

Статыгин залюбовался ее надменностью, бледным строгим профилем и вместо ответа хотел придвинуться к ней со стулом (девушек в комнате не было), но Райкова быстро встала.

— Вам лучше уйти сегодня, Иван Ксенофонтович, — сказала она резко. — До свиданья!

— Слушаюсь!

Статыгин долго не мог привыкнуть к редкой прямолинейности Райковой. За этой особенностью ее он чувствовал неженскую волю. Раиса Михайловна совершенно не умела кокетничать — по крайней мере так ему казалось, — не имела понятия, что значит лукавить, кажется, и нерешительность была ей совершенно чужда.

— Я бы хотел повидаться с вами сегодня, — позвонил как-то он.

Райкова чуть помедлила и ответила:

— К сожалению, у меня такого желания сегодня нет. Я думала о вас, и думала плохое.

— Простите, что позвонил! — всполохенно промямлил Статыгин.

— Не обижайтесь, если сможете, — ответила она.

А бывало, что она говорила еще проще:

— Мне сегодня необходимо решить серьезную задачу. Короче: я занята. Боюсь, что вы помешаете мне. Не приходите! Попробуйте позвонить дня через три.

Статыгин не привык подчинять свои желания каким-либо условиям. Он ответил тогда с обидой:

— Но, Раиса Михайловна, вы, помнитесь, говорили, что любите встречаться со мной?

— Это не значит, что всегда.

Но он уже не сомневался, что она любит встречаться с ним. Только еще не знал — почему.

— Я хочу поехать на выходной день за город. Не сможете ли вы быть со мной? — предложила однажды она сама.

— Не хочу! — твердо и мстительно заявил Статыгин, вспомнив много случаев, когда она отвечала на его просьбы так же.

— Я поняла бы вас, если бы вы сказали: «Не могу». «Не хочу» — я отвергаю.

Статыгин подчинился.

В городе уже не было ни снежинок, а в лесу весна только начиналась. Правда, грачи, и скворцы, и дрозды уже прилетели. Статыгин не узнавал Райкову — опять она предстала перед ним какой-то совершенно новой стороной.

— Подумать только, — негромко восхищалась она, — что можно так вот просто взять билет за тридцать копеек, сесть в электричку и приехать прямо в рай. Пусть всего на один только час, пусть даже бога не встретить, а все-таки побывать в раю. Как это удивительно! Что бы там ни говорили ортодоксы о пантеизме, а человек должен жить в лесу.

Статыгин в шутку спросил (в шутку ли?):

— Значит, я не смогу для вас сойти за бога?

Она огорчила его:

— Разве это можно принять всерьез? Бог должен быть жестоким, а вы... — И немного погодя повторила: — Все-таки человеку надо жить в лесу!

В дачной местности они увидели, как скворцы дружно отвоевывали свои жилища у воробьев, а потом уже дрались промеж собой. На ветках деревьев возле каждого скворечника сидели обычно по три скворца. Почему по три? Загадка разрешилась: двое из трех то в одном месте, то в другом вступали в ожесточенные бои, кончавшиеся тем, что третий в конце концов исчезал. На фоне неба Райкова увидела забавную картинку: в сухьях голый березы висели вниз головой два

скворца, один держался за сучок, а другой висел на нем, сжав ему лапками клюв и вторую ножку.

— Мертвая хватка! А долго они так смогут держаться? Заметьте по часам! — попросила Райкова.

Статыгин заметил. Почти полторы минуты висели скворцы, наконец верхний не выдержал, разжал лапку на ветке, и оба они повалились вниз, расцепившись на лету. Победитель занял место у скворечника рядом со скворчихой и залился песней.

Лес казался дремучим и таинственным, пока они в него не вошли, а вошли — и как в доме, все в нем сразу ожило, и все стало казаться родным и близким, а птицы и зверушки, хоть и неизвестные, — старыми знакомыми. Тайны начали открываться одна за другой. Откуда это такая звонкая дробная трель, постепенно замирающая в утреннем воздухе? Может быть, это дерево скрипит, трется на ветру сучком или стволом о другой ствол? А может, дятел долбит? Но разве можно с такой скоростью что-то долбить? Скорее это музыка, чем работа.

— Подсмотрим, — предложила Раиса Михайловна.

Они пошли на трель и увидели на высокой сухой осине пестрого дятла с ярко-красным подхвостьем и животом. Сидел дятел под обломком сучка и время от времени коротко и дробно бил по нему носом — так пианист иногда пробегает пальцами сразу по всей клавиатуре рояля. Сучок вибрировал, пел. Конечно же, это была игра, это была утренняя песня дятла!

Статыгин ударил ногой по стволу. Дятел перелетел на другое дерево, уселся под такой же сухой сучок и почти сразу заиграл снова. Должно быть, инструментов, подобных этому сучку, у дятла было рассмотрено немало.

— Весенний ток! — сказал Статыгин. — И дятел токует.

В хвойной роще лежал еще глубокий снег. Старые лыжные колеи затвердели и поднялись буграми над подтаявшими и осевшими сугробами. Следы в лесу как бы вытаяли и увеличились до пугающих размеров: собачьи стали по крайней мере волчьими, а то и медвежьими, беличьи — заячьими. А следы человеческих ног стали такими огромными, будто здесь недавно бродил сам леший.

На опушках снег был тонок, поверхность его, источенная водой и солнцем, напоминала рябь на озере, завихренные ветерком пенные гребешки. Над снежным раздольем, как над озером, летали первые весенние бабочки. И комары-толкуны висели в хвойной тени — прямо над снегом.

— Хорошо! Удивительно хорошо! — то и дело повторяла Раиса Михайловна. — Бабочки на снегу — это доступно

только музыке. А комары толкут воду в ступе...

— Воду в ступе... это уже что-то не от поэзии и не от музыки, — сказал Статыгин. — У комаров — любовь.

— Фу! — поморщилась Райкова.

— А что? — возразил Статыгин. — Все очень естественно.

— Полноте, Иван Ксенофонович! Что мы знаем об этой комариной естественности? Это же целый мир. Природа. Мы слишком высокомерны по отношению к природе.

Статыгин показал на отверстие в дупле осины.

— Я в прошлом году бывал здесь. Тут росли молодые горластые музыканты, крик стоял на весь лес с утра до вечера. Не только родителям — никому покоя не было. И вот посмотрите на второе отверстие в этой же осине — с обратной стороны, чуть выше — это резиденция взрослых дятлов. Я пронаблюдал: во втором гнезде жили папа с мамой. Должно быть, там была для них единственная возможность передохнуть от крика вечно голодных и хамоватых отпрысков. Кажется, у всех дятлов так заведено: гнездо для детей и гнездо для себя.хлопот с детками не оберешься, а подрастут они — и навсегда бросят свое родное гнездо, да еще с родителями расплюются.

— Вы опять про любовь? — засмеялась Раиса Михайловна.

Что-то в ней оттаяло: ходила по лесу, словно крадучись, и, беспрерывно улыбаясь, ко всему приглядывалась, ко всему прислушивалась, время от времени вздыхала. Вся ученость с нее слетела, даже слова она стала употреблять иные, чем в городе, простые, обиходные.

— Очень хорошо! Да, человек должен жить в лесу!

— А работа? А химия? — спросил Статыгин.

— Я думаю, что вы сознательно хотите исказить мою мысль. Сегодня мы отдыхаем, спорить не надо. Не о чем. Я вам благодарна за сегодняшний день!

Статыгин зашел в лесок, где было много еще не испорченного мягкого снега, и крикнул:

— Посмотрите сюда, и здесь любовь!

— Что такое?

— Любовь, говорю! Видите? Беличьи следы, вроде заячьих, только размером побольше. Да вот и сами белки.

И они увидели: несколько белок, окрашенных еще по-зимнему, серо-голубых, с рыжими пушистыми хвостами, носились по низкорослым елочкам и прямо по земле, по снегу, по мху, одна за другой.

— Беличьи свадьбы. Весна — время любви!

— Очень хорошо в лесу! — задумчиво отозвалась Райкова.

— Всегда хорошо! — подтвердил Статыгин. — Но весной, конечно, особенно хорошо. Да, весна — время любви.

— Разве я возражаю?

Райкова вскинула голову. Статыгин уставился на нее, не отрывая глаз. «Она красива, когда вскидывает голову», — думал он. Так вскидывает голову молодая ланка, — ему это приходилось видеть. И Статыгин, как бы между прочим, спросил:

— А что думаете о любви вы, Раиса Михайловна?

Странно, что она так долго не позволяет приблизиться к себе. Даже под руку не разрешает взять. Не хочет — и все, не привыкла, говорит. Было однажды зимой: он взял ее под руку на улице, и она на мгновение припала к нему, но вдруг заволновалась и отстранилась. Странно все... Игра какая-то?

— Вам хочется поразговаривать о любви? — спросила она.

— Да, хочется.

— Вас беспокоит любовь?

— Да, беспокоит.

Райкова, конечно, нарочито огрубляла разговор, и Статыгин отвечал ей тем же.

— Беспокоит, говорю!

— В какой форме?

— Что это значит? Вы над чем смеетесь, Раиса Михайловна?

— Значит, я что-то должна сделать, чтобы вас перестала беспокоить любовь? Так я вас понимаю?

Похоже, она уже издевалась над ним. А почему, собственно, почему?

— Разве желание любви вам не кажется естественным? — спросил он. — О какой форме вы говорите? Может быть, вы думаете о любви законной и незаконной? О так называемой незаконной, — уточнил он. — Разве незаконное всегда противоестественно?

Раиса Михайловна задержалась перед старой елью с муравейником у подножья, обернулась к Статыгину, словно хотела получше разглядеть и понять его, и ответила:

— Не мудрите, Иван Ксенофонович, а то я боюсь неправильно истолковать вас. Давайте проще, люди мы взрослые, не принимайте меня за девочку. Скажите лучше, как вы сами понимаете любовь?

— Вот это разговор! — обрадовался Статыгин. — Слыхали вы, есть такое выражение у летчиков-истребителей: свободный поиск? Идти в свободный поиск...

— Ну, ну, — подбодрила его Раиса Михайловна. — Не мудрите! Еще проще!..

Статыгин снова насторожился и замолчал. Всерьез она хочет прямого разговора или издевается над ним?

Раиса Михайловна раздвинула ело-

вые лапки над головой, над муравейником и с явным лукавством смотрела на него, ждала. Потом, чуть помедлив, сказала:

— Что-то у нас не получается разговора о любви. А весна ведь! Смотрите, уже муравейник оживает. Тоже любовь?

Муравьи высыпали наружу и маслянисто поблескивали сплошной черной массой. Двигались они медленно, словно еле-еле приходили в себя, — не до любви еще, наверно, было.

Статыгин сдержал обиду:

— Самое интересное будет вечером, на зорьке, когда вдоль опушек начнут снова лесные кулики — вальдшнепы.

— Я слыхала об этом: тяга.

— Да, тяга! То же, что тетеревиный ток, только на лету. Весенние свадьбы.

— Значит, вы опять про любовь? И не можете не говорить об этом?

— Не могу! — признался Статыгин.

— Вы покажете мне тягу сегодня?

— Нет. Ружье нужно.

— Почему обязательно ружье? Разве нельзя не убивать?

— Нельзя без ружья: я охотник.

— Уважьте любовь хоть раз, весна же!

— Не смогу. Я охотник! — заявил он окончательно.

— Понятно. И не бойтесь меня испугать этим?

Статыгин засмеялся:

— Я скоро сам буду вас бояться.

Они пошли дальше, все дальше и дальше от железной дороги, от дачных поселков. То разговаривали, то молчали. Райкова держалась в стороне от Статыгина либо шла впереди него. Снегу местами было так много, что хотелось стать на лыжи.

— По утрам, когда примораживает, можно еще ходить на лыжах, по насту, — сказал Статыгин. — Но примораживает ли по утрам? Весна наступает слишком яростно. Вы любите ходить на лыжах?

Райкова не ответила. Ее что-то начало раздражать. Статыгину показалось, что ее угнетают часто возникающие заминки в разговоре, но от этого он почувствовал только неловкость и сам стал раздражаться.

Пели птицы. Райкова заговорила о птицах:

— Вон сколько птиц в лесу, а мы их не знаем...

— Ну и что? — не дав ей договорить, задал вопрос Статыгин.

— Как — что? Это же стыдно.

— Вы меня в чем-то упрекнуть хотите?

— И вас, и себя. Вас — тем более, вы — охотник.

— Ну и что из того?

— А вот что. Мы постоянно говорим о своей любви к природе. Говорим: наша земля, наш лес! Слушаем пенье соловья. А какой он, соловей? Какая она, иволга? Знаем сороку, да

ворону, да воробья, да разве еще синичку. Но одних синиц десятки видов. Разве не правда? Орлов, конечно, знаем! Как же — цари! А об остальных говорим просто: стаи, пернатое царство... Обидно и стыдно за человека!

— Я вижу, вы скоро совсем про химию забудете, — постарался улыбнуться Статыгин.

— Перестаньте шутить, вы, любитель природы! Охотник! Без ружья в лес выйти не можете. А ведь, наверно, отстаиваете жизнь во всех ее проявлениях, так сказать, за мир на земле боретесь.

— Ну этого хода я уж совсем не понимаю! — огрызнулся Статыгин.

— Поймете, если захотите.

Они снова надолго замолчали. Потом Раиса Михайловна обратила его внимание еще на один муравейник, при этом обругала кого-то, словно обрадовалась, что нашла повод для разрядки своего внутреннего напряжения:

— Негодяи!

— В чем дело?

— Бандюги! Вы заметили, что мы еще не встретили ни одного муравейника не разрушенного, не разворошенного?

— Ну?

— Ни одного! Идет горожанин по лесу и раскидывает эти пирамиды. Медведь пройдет по лесу — ничего без нужды не тронет, человек пройдет — обязательно ударит сапогом по муравейнику, либо гнездо птичье разорит, либо в белку камнем кинет. А ведь он — хозяин земли, царь природы! Не понимаю, почему в наших школах нет специальной дисциплины — охрана природы? Почему мы не можем воспитать в людях с детства доброжелательное, невзыскательное отношение ко всему живому на земле? Топчем, травим, рубим, губим — богаты, ничего не жалко! Вот, дескать, какие у нас широкие натуры! А как можно мечтать о коммунизме и быть такими хищниками? С чем же мы прилетим на другие планеты, какие порядки туда занесем? Да если бы только в этом проявлялась наша небрежность к природе! Кое-где она приобретает прямо-таки государственные масштабы. Рассказать?

Райкова разгорячилась и так громко заговорила, словно выступала с университетской кафедры и в аудитории перед ней сидело по крайней мере человек сто-двести. Статыгин уже не нервничал, только с опасением и с какой-то даже жалостью поглядывал на ее побледневшие губы, и ему захотелось поцеловать ее. Но Раиса Михайловна по-прежнему держалась чуть поодаль.

— Не надо рассказывать, — ответил он, — я сам слишком много знаю об этом.

Когда они возвращались к электричке, Раиса Михайловна вытерла влажный лоб носовым платком и повторила:

— Большое спасибо вам, Иван Ксенофонтович, за сегодняшний день. Мне было хорошо с вами. Спасибо!

Интимность в разговоре, казалось, исчезла навсегда.

— Одного «спасибо» мне уже мало! — криво усмехнулся Статыгин.

Опять она вскинула голову. Но не обиделась и не сделала вида, что ничего не понимает, — не кричала, не кокетничала. Наоборот, она стала еще более серьезной, чем была, и ответила серьезно:

— Хорошо, я подумаю об этом. Подумаю, как с этим быть. Мне чего-то еще не хватает... Вероятно, не хватает некоторого самозабвения. А вам действительно нужно это?

«Вот те на!» — удивился про себя Статыгин, а вслух сказал:

— Умеете вы задавать вопросы, Раиса Михайловна! Так, что в тупик ставите. Нужно мне это или не очень нужно, зависит от обстоятельств. Но отвечать на такие прямые вопросы все-таки, признайтесь, не очень просто. Неловко как-то, я бы сказал.

— Значит, вы для себя еще не все решили? — спросила она.

— Между прочим, мне решать все это гораздо труднее, чем вам.

— Да? — почти обрадовалась Райкова. — Это хорошо. Конечно, вы имеете в виду, что я одна, а вы не один в жизни? Значит, вы серьезный человек. Меня это радует.

— Ну вот, нашел, наконец, чем порадовать вас. А чем вы меня можете порадовать?

Они стояли на платформе, когда подошел поезд, и Статыгин только сейчас сообразил, что он еще не взял билеты. Народу было немного, посадка прошла быстро, и пока он возился с мелочью у кассы, автоматические двери вагонов сдвинулись, и поезд без свистка тронулся.

— Вероятно, судьба! — весело сказал Статыгин. — Если не возражаете, давайте сойдем с платформы на другую сторону, там есть скамейка под фанерным грибом, посидим и с божьей помощью пропустим еще два-три поезда. Как?

Раиса Михайловна одобрила:

— Судьба так судьба! Давайте в свободный поиск. Я уже говорила вам, что готова и на тягу остаться. Если бы точно знать, что завтра у меня опять будет скомкан рабочий день, можно бы вообще не возвращаться домой. Какая-то принцесса, кажется, приезжает.

Огромный, ярко раскрашенный деревянный гриб стоял среди густой сосновой поросли, и массивная ножка его, как ствол дерева, была сплошь изрезана надписями. И скамейка под

грибом была изрезана, исписана и изрисована вдоль и поперек. Тут и объяснения в любви, и доносы на своих близких, Колю и Маню, и просто подписи и даты: были такие-то, тогда-то... До чего же хочется людям оставить о себе память!

— Посидим здесь, — предложил Статыгин.

— Вам нравится этот гриб, эта бутафория? — фыркнула Раиса Михайловна и опустила на скамью. — Типичное чиновничье творение.

— А чем плох грибок? — смеясь возразил Статыгин. — Вон сколько тут людей перебивало! Млеют, наверно, парень с девушкой рядом, какие-нибудь Коля плюс Маня, и робкий влюбленный кавалер либо ковыряет землю носком ботинка, либо достает ножик и начинает резать сук, на котором сидит. Да... Что вы сказали о принцессе, не понял я?

— Мешают нам работать разные коронованные особы, повадившиеся в Союз в последнее время, вот что я сказала. Встречи — проводы, встречи — проводы, без конца. Зачастили! Работать некогда...

До Статыгина дошла только комическая сторона рассказанного:

— Значит, из-за пуговицы наука может остановиться, как правильно заметил Аркадий Райкин?

— Вот именно! Вам только ханьки да хаханьки, а лаборатории порой часами бездействуют. Политика!

— Ого! Недаром вы сегодня не раз повторили, что человек должен жить в лесу.

— А вас не интересует политика? — спросила Раиса Михайловна.

Статыгин нарочито стал ковырять землю носком сапога. Но все же ответил:

— Как видите, я стараюсь о ней не заговаривать.

— Что же вас интересует?

— На сегодняшний день — вы.

— И только с одной стороны?

— Ну вот, вы опять в лоб!

— А нужно лукавить? Делать вид?..

— Ну, не лукавить, но... Разве ж так можно? Впрочем... Статыгин остановился, словно вдруг оробел, и, наконец, спросил: — Правду ли говорила Полина Васильевна насчет девицества? — он не посмел сказать — «вашего».

Раиса Михайловна не застеснялась, как Статыгин, но и не сказала ничего определенного.

— Вот теперь я могу повторить за вами: «Ого!» — сказала она. — Значит, это вас интригует, да?

Подшел еще один поезд. Они равнодушно посмотрели на него и остались сидеть на месте, пережидая шум и людскую беготню. Когда состав тронулся и проходил мимо, их обдало

посторонними запахами. По вершинам сосновой молодки пронесся ветерок — и прежний покой на станции и вокруг гриба восстановился. Уже за вечерело.

— Не интригует, конечно, а интересует, — сказал Статыгин. — По-человечески интересует. Помню, я был в деревне, когда ввели налог за бездетность, и удивлялся, как быстро появилась частушка, восполнившая в какой-то мере односторонность газетных откликов:

Девочки вы, девочки,
До чего вы дожили,
Что хранили-берегли,
На то налог наложили!

Раиса Михайловна расхохоталась:

— Иван Ксенофонтович, голубчик! Правильно ли я вас понимаю — вы хотите, чтобы я, вслед за этими девчонками, усомнилась в разумности строгого образа жизни, какой вела до сих пор? Действительно, зачем беречь себя, если это даже законом не поощряется? Так, что ли?

До чего все-таки трудно с ней разговаривать! А уж о легком флирте и говорить нечего. Может быть, встать да уйти? Или предложить ей вернуться в город, пора уже?

— Нет, я не собираюсь сбивать вас с пути праведного, — жестко сказал Статыгин, — и не думаю, чтобы закон имел в виду именно это. Я вырос в местах, где и поныне девушка, не сумевшая себя сберечь, может, пожалуй, считать свою жизнь неудавшейся, об этом позаботятся даже ее родные и близкие.

Райкова стала серьезной.

— Я тоже не считаю, чтобы наши законы побуждали к легкой жизни, и добросовестно выплачиваю свой налог уже много лет. Но подумали вы о другом: сколько после войны девушек и женщин лишили права на нормальную семейную жизнь? Можете вы шутить после этого — «праведный путь»... «хранили-берегли»?.. Я вам расскажу о другом случае, тоже из деревенской жизни, я сама это видела. Вскоре после войны я сидела в колхозном клубе, в Сибири, перед началом собрания, и всматривалась в женские лица. Мужчин в зале почти не было видно. Женщины же — в ватниках, в пестрядинных домотканых платках, а то еще в немецких плащ-палатках с камуфляжем, суровые, бледноватые — походили больше на фронтowych разведчиц, чем на колхозниц. «Вот, — думала я, — солдатки! Никакие женские слабости не тронут эти ожесточившиеся сердца. Настоящие русские солдатки!» А собрание долго не начиналось, и поднялась среди солдаток брань. Одна кричит: «Ты чего, нечиста сила, Петьку хромого к себе приманиваешь?» Другая ей в ответ: «А тебе одной, что ли, мужика надо? Хватит, он к тебе приходил, теперь пускай со мной живет,

я ребенка хочу!» Я тогда, по молодости своей, слушала эту перебранку с ужасом в душе, чуть с собрания не сбежала. Мне было стыдно тогда. А женщины, смотря, говорят обо всем без ханжества, без цинизма, ничего скверного и стыдного для себя в этом не видят. И мужики сидят тут же и не смеются. Для них это — быт, жизнь. Кажется, и хромой Петька сидел тут же, и тоже — ничего. И я поняла тогда еще одну трагедию военного времени, может быть, самую страшную из всех трагедий.

— Все так, все это очень естественно, — сказал Статыгин, — но какое это имеет отношение к вам лично?

Раиса Михайловна рассердилась, как если бы снова заговорила о напрасно разрушенных муравейниках.

— А такое, что мне уже не двадцать и не двадцать пять лет, и мне надоела проповедь о так называемом женском целомудрии и неприкасаемости. Я слишком долго сама была ханжой и не хочу больше ханжить. В мои годы это становится уже смешным. Того гляди, скоро будут про меня анекдоты рассказывать, как про ту старую актрису, которая всю жизнь играла в любовь на сцене, исполняла роли обольщенных девиц, а сама навсегда осталась в полном неведении относительно женских радостей и тягот. Или вам опять что-то непонятно? В кликуши я не гожусь, поняли?

Последние слова Раиса Михайловна почти выкрикнула. Тонкие губы ее побледнели и почти исчезли с лица, а глаза стали злыми.

— Имейте в виду, Иван Ксенофонович, — добавила она, — мне абсолютно все равно, что вы обо мне сейчас подумаете. Поняли?

— Понял! — сказал, будто притиснутый к стене, Статыгин и тут же поправился. — Ничего не понял.

Странное дело, во всем, что перед этим говорила Раиса Михайловна, Статыгин не мог не почувствовать налета некоторой циничности, но сейчас такая откровенная циничность его почему-то уже не устраивала.

Он поднялся со скамейки и ударился головой о край шляпки гриба. Гриб пошатнулся.

Раиса Михайловна тоже встала.

— Пора ехать! — резко сказала она и первая зашагала к платформе.

Статыгин был в смятии. Ему действительно казалось, что он ничего не понял. Хотя что, собственно, было непонятно в их разговоре? В разговоре — да, а — в отношениях?

И Статыгин задумался.

Пока встречи с Раисой Михайловной представлялись ему простыми и безобидными, он не утруждал себя переживаниями. Все шло легко и просто, просто и ясно. И то ожидаемое, то

самое, что должно было в конце концов совершиться и чего он, конечно, хотел, тоже представлялось ему простым и, главное, безгрешным. В поступках своих он руководствовался больше мужским любопытством, чем человеческим интересом, о котором как-то говорил Раиса Михайловне. Флирт есть флирт.

И вдруг все неожиданно и странно осложнилось. Осложнилось потому, что сама Раиса Михайловна все до предела обнажила и опростила. Нет, не то — не опростила, а, наоборот, внесла в отношения какую-то шемпящую душу серьезность, более того — трагедийность какую-то, особенно когда заговорила о войне и о страданиях людских. До этого была только игра — интригующая, дразнящая, с недоговоренностями, но игра, и в ней ничто не казалось грубым и запретным. Кто кого переигрывает, и все. Но вот Раиса Михайловна назвала вещи своими именами — и игра закончилась. Тайные мысли его и тайные желания вдруг оказались явными, и Статыгин поморщился от их грубости и наготы.

Из почти нереального мира, бездумного, беззаботного, такого, как, скажем, на курорте, он возвратился вдруг на землю, к обычным своим тревогам и обязательствам, от легкомыслия — к ощущению ответственности за каждый свой шаг, за каждое слово.

Это можно бы сравнить еще с тем, как человек возвращается домой с далекой прогулки, во время которой встречались люди незнакомые; он мог замечать их, мог не замечать, смотря по настроению, мог даже перекинуться с кем-нибудь словом, а то равнодушно пройти мимо — ничего от этого не менялось, он никому ничем не был обязан. Но, вернувшись с прогулки в свой дом, в обстановку деловой повседневности, к близким и родным, на глазах у которых протекала вся его жизнь, он уже не волен был относиться с безразличием к тому, что они думают о нем и что говорят. Прогулка закончилась, палка поставлена в угол — и Статыгин среди своих сразу утратил легкое и веселящее ощущение полной своей свободы и независимости и снова стал человеком.

А человеком быть трудно. Потому трудными и сложными сразу оказались ему и отношения с Раисой Михайловной. Он в ней тоже увидел человека, который не на прогулке, и к ней теперь нельзя уже было относиться так легко и бездумно, как ему хотелось раньше, не связывая себя ничем и не рискуя предстать перед судом собственной совести.

Обрадовало это его? Нет, не обрадовало.

Правда, сама-то Раиса Михайловна идет на все с открытыми глазами, она решилась и, значит, права перед

собой. Но в решимости ее Статыгин почувствовал какой-то надрыв, и легкое, беззаботное настроение покинуло его.

Надолго ли?

Спустя несколько дней они побывали на тяге. Статыгин ждал от этой поездки за город чего-то очень значительного для себя и волновался особенно из-за того, что им предстояла совместная ночевка — так предположительно они договорились. Ночевка должна была все решить, все прояснить и определить, что же такое они друг для друга. Статыгин взял ружье, десятка три патронов, пару бутылок вина с хорошей едой: еще неизвестно было, где их застанет ночь. Может, в каком-нибудь шалаше у костра? Хорошо бы в шалаше! Раиса Михайловна ко всем этим приготовлениям отнеслась спокойно.

Не больше часа езды от Москвы — и они сошли с электрички. Поблизости гудел аэродром, реактивные самолеты пролетали над ними с таким устрашающим воем, что казалось — весь лес пригибается к земле.

С удивлением осмотревшись вокруг и уставившись в небо, Раиса Михайловна засмеялась:

— А я-то думала, что мы приедем на необитаемый остров. Вот будет охотка! Или под вечер самолеты укладываются спать?

Остатки снега на березовых полянах и в редколесье, встречавшиеся раньше, как обрывки газетной бумаги после пикника, уже исчезли: весна все подобрала, подчистила. Ей оставалось еще прикрасить свежей зеленью прошлогодний прелый лист, да желудую карточку, да хвойные побеги, сброшенные белками и птицами с елей, и все будет в порядке: земля возродится.

Речки, мелководные летом, теперь раздались вширь и вглубь и стали неузнаваемо шумны: каждая пыталась хоть ненадолго сравняться с настоящей рекой, а мелкие ручейки хотели походить на речки.

Раиса Михайловна заметила, что молодые березовые сережки на фоне неба, в три лапки каждая, похожи на птичьи следы на снегу, и было их бесчисленное множество. Заметила и обрадовалась:

— Хорошая примета!

Статыгин посмотрел на небо сквозь березовые веточки и тоже обрадовался:

— Действительно, похоже на птичьи следы. Ну что ж, пускай это будет хорошая примета. Места для охоты здесь отличные, тургеневские. А вы бывали на тетеревином току?

— Нет, но все представляю отчетливо. Безлюдные места, тишина...

Раиса Михайловна опять рассмея-

лась, но смеха ее уже не было слышно: из-за тургеневской березовой рощи налетел, как шквал, ТУ-104. Когда гром утих, она спросила:

— Мы далеко пойдем?

— Мы уже дошли.

— Здесь может водиться какая-то дичь?

— А куда ей деваться?

Они остановились в треугольнике между двух шоссе дорог. Одна из них была сравнительно тихой, вела в небольшой спортлагерь, а по другой то и дело пронеслись автомашины, легковые и грузовые, — с зубрами, с медведями на капотах, разные МАЗы и ЯЗы, и стрекотали мотоциклы. По железной дороге через каждые семь-десять минут следовали поезда: легкие, почти бесшумные электрички, дальние пассажирские, с надрывными гудками, да пыльные многовагонные товарные составы. Самолеты пронеслись еще чаще, чем поезда, со свистом и воем, низко над головами. Трудно было понять, от чего больше дрожала земля — от тяжеловесных поездов или от реактивного гула самолетов.

— Лучшего места для тяги мы не найдем, да здесь и не бывает, — со знанием дела сказал Статыгин. Сегодня он чувствовал себя хозяином положения и не прочь был даже немного похвастать и землей, и небом, и этими рощами, как собственными владениями.

Смешанный лес расступался в нескольких местах. Полнани представлялись березовыми, либо дубовыми, либо осиновыми — в зависимости от того, какая порода деревьев преобладала вокруг. Осинник с ольховником легко было спутать, но черные дубовые стволы с ржавыми пятнами прошлогодних листьев на ветвях и березовые, сияющие на солнце, резко выделялись в эту пору среди других деревьев.

Елки выступали вперед на любой опушке, из любой рощи.

До зорьки еще было далеко, занимать место для охоты раньше времени не имело смысла, но и бродить не хотелось, поэтому Статыгин и Раиса Михайловна остановились на узкой березовой полянке и, негромко разговаривая, стали ждать, когда закончится день.

День угасал неторопливо. Угасали небо и земля, но звуков в лесу становилось все больше и больше. Конечно, вопреки их желанию, и самолеты летать не перестали, и поезда не перестали греть, и поток автомобилей на шоссе не уменьшался. А все-таки с наступлением сумерек в лесу слышнее стало пение птиц. Небо раскалывается, земля дрожит, а дрозды-пересмешники заливаются на все лады — и за соловьев, и за жаворонков. Щебечут синички, кричат сой-

ки, спокойно перелетают с дерева на дерево дятлы. Правда, Райковой все еще казалось невероятным, чтобы в этом реактивном вое и железном грохоте, рядом с Москвой, могла быть настоящая охота, но Статыгин успокаивал ее:

— Тяга здесь должна быть отличная. Вот солнышко сядет — и полетят зоринки через полянку, из конца в конец, да вдоль опушек: «Хр-хр, цырк-цырк». Снять бы парочку!

— Так вот взять да и снять?

— Охотничья терминология: утку подсидеть, зайца свалить, вальдшнепа снять...

Раиса Михайловна попробовала заговорить о другом:

— Места, действительно, хорошие, к тому же грибные. Тут должны расти и подосиновики, и подберезовики, и, конечно, белые. Главное — белые, царские...

— Кому что, — ответил Статыгин. — Только для грибов пора еще не настала. Сейчас разве что сморчки могут встретиться, и то не в таких местах.

Пролетела запоздалая сорока — высоко, осторожно. Раиса Михайловна сказала:

— Вот ведь какая красивая птица, сказочно красивая, а примелькалась — и никто этого не замечает, нахалка, дескать, и все. Такая же история с трясогузкой. Неприятное имечко у нее. То ли дело — плиска, плисточка!

Пролетела летучая мышь, Раиса Михайловна вскрикнула:

— Вы видели, Иван Ксенофонтович? Летучая!

— Бряд ли. Рано еще. Впрочем — не все ли равно? Интересно другое: живой локатор. Ничего не видит, а на тончайший волос, и то не напорется.

В просвете между деревьями появились огни.

— Что там? — спросила Раиса Михайловна, переходя на полусшепот.

— Дачи.

— Так близко?

— От чего близко?

— От нашей охоты. Странно как-то...

— Дачи им не мешают.

— Кому?

— Вальдшнепам.

— Вы все еще верите, что здесь могут быть вальдшнепы?

— Почему же нет?

— Обстановка неподходящая: ни тургеневской тишины, ни пришвинской сосредоточенности. Индустриальная обстановка!

— Какое им дело до всего этого?

— Кому?

— Вальдшнепам. У них любовь.

— Вы опять про любовь? Перестаньте говорить о любви, — попросила Раиса Михайловна. — К чему это?

— Пожалуйста, если для вас так спокойнее, — ответил Статыгин.

— Вот именно, спокойнее...

Вальдшнепы все-таки появились. Ничто не помешало им вылететь в свой срок. Лес жил своей жизнью, не смотря ни на что.

— Все как по плану! — пошутил Статыгин в ответ на удивленный взгляд Раисы Михайловны.

Первый куличок вынырнул из-за ели прямо на них, и совсем неожиданно; не успели они увериться, что это был именно вальдшнеп, как он уже исчез. Взъерошенный, почти круглый, но с длинным носом, почти игрушечный, он летел и, конечно же, что-то кричал, но крика его не было слышно, потому что сразу следом за ним и в том же направлении опять вымахнул на светлое небо огромный и черный, как демон, ТУ-104.

Спустя минут пять — может, больше, может, меньше — появился второй вальдшнеп, но уже с другой стороны, и слышно было его призывное хорканье, потом еще один, потом сразу два, друг за другом, — должно быть, самец и самочка. «Цырк-цырк, хр-хр...» — раздавались над лесом совершенно не птичьего голоса. Летели птицы всполошенно, но в каком-то своем, строго определенном направлении, и когда Статыгин начал стрелять, они взмывали кверху либо отклонялись в сторону и снова ложились на прежний курс. Несмотря ни на что, они делали свое брачное дело. «Цырк-цырк, хр-хр».

— Незавидные свадьбы! — иронически прошептала Раиса Михайловна.

— Любовь! — твердо ответил ей Статыгин. В торжестве своем он забыл, что обещал не говорить больше про любовь.

— Какие они здесь все-таки робкие, жалкие, — сказала Раиса Михайловна. — Лучше бы уж летели куда-нибудь дальше, на север.

— Это вам только кажется, что они робкие, а они здесь у себя дома, им тут хорошо.

— Нет, это вам только кажется, что им здесь хорошо. Зачем им столлица?

— Снабжение налаженное, — опять пошутил Статыгин.

Он убил вальдшнепа, когда уже наступили густые сумерки, и птицу пришлось долго разыскивать в кустах: смертельно раненная, она распласталась на земле и затаилась. Даже под лучом электрофонарика ее трудно было отличить от ржавой травы, от прелого листа. На черных полянах в лужах снеговой воды отражалось небо, и лужи казались зияющими колодцами, уходящими куда-то к центру земли, а то и совсем сквозными.

Раиса Михайловна сказала:

— Подходишь к краю лужи, будто к краю неба, заглядываешь, и страшно становится.

Ее поразила длина клюва птицы, но больше — глаза. Крупные, выпуклые, похожие на фасолевые зерна, и черные-черные, будто из китайского лака, они не закрывались даже под ярким лучом фонарика и потому казались совершенно незащищенными, беспомощными.

Сняв вальдшнепа, Статыгин почувствовал себя героем, для которого не существует теперь ничего невозможного и запретного. Раиса Михайловна держала в руках убитую птицу, задумчиво разглядывала ее, поворачивая так и этак. А он победно смотрел на нее, на женщину, и от бывшего смятения его не осталось и следа.

— Ну, что вы скажете? Покорил я вас?

— Я в восторге. Вам хочется покорить и меня так же?

— Конечно.

— Вы и на меня воззрились, как охотник? Рука у вас не дрогнет? И не будет никаких переживаний?

— Вы же и сами, — сказал Статыгин, — не признаете ненужных переживаний и разговоров.

Раиса Михайловна улыбнулась:

— Это вы быстро усвоили, охотник!

Статыгин подошел к ней вплотную и впервые властно обнял ее.

— Разве весенняя охота запрещена?

— Эту птицу сгубила любовь, — сказала Раиса Михайловна, но не отстранилась от него.

Статыгин почувствовал себя еще увереннее:

— Красиво, но отдает романсом. «Вот вспыхнуло утро, румянятся зори...» — пропел он.

— Красиво сгубила? Я смотрю, вы постепенно становитесь на мое место.

— То есть как?

— Вы меня в некоторых случаях называли химиком.

— Вы имеете в виду манеру поведения?

— Я имею в виду манеру вашего поведения.

— О господи, опять за старое! — не то притворно, не то всерьез простонал Статыгин.

— И все-таки птиц этих любовь губит. Если бы не любовь, не вылетели бы они на выстрел. Хорошо еще, что сумерки короткие, а там, где белые ночи, они, вероятно, до утра летают.

— Белые ночи, точно, несчастье для влюбленных, но в другом смысле.

— В каком же? — спросила Раиса Михайловна.

— Укрыться некуда. Особенно, если жилья отдельного нет. В Архангельске, я знаю, влюбленные по целым ночам просиживают на скамейках и даже поцеловаться стесняются, неудобно как-то, вроде бы у всех на глазах, светло.

В стороне над вершинами деревьев

что-то промелькнуло, и Статыгин схватился за ружье. Раиса Михайловна уставилась в небо и вытянулась вся с таким напряжением, так молитвенно, словно смотрела не только глазами, а грудью, руками, всем существом своим. Но вальдшнепы больше не летели.

— Хоть бы заяц еще пробежал для интереса, — пожелала она.

— Зайцев здесь нет.

— Про вальдшнепов я тоже так думала.

Стоять дальше не имело смысла. Заря потухла, облака потемнели. В густой хвое блеснули звезды, сквозь еловые вершины замелькали разноцветные огоньки четырехмоторного великана, и одна елка на мгновение засветилась, как новогодняя. Все птицы смолкли, лишь кое-где с криком взлетали испуганные кем-то дрозды и тыкались в кусты вслепую. Не угомонились только поезда, да самолеты, да автомашины на шоссе.

— Ну как, вы не раздумали ночевать в лесу? — нарочито весело спросил Статыгин.

— Попробуем! — в тон ему ответила Раиса Михайловна.

— Не бойтесь?

— С таким опытным охотником чего мне бояться?

«Вот так, никакой неловкости, никаких двусмысленностей, все просто и ясно!» — подумал Статыгин, и все старые сомнения и тревоги оставили его. Он снова почувствовал охотничий азарт.

С влажной поляны они прошли в глубь леса, где было суше. Облюбовав широкую густую сосну, Статыгин повесил на сучок ружье, положил к стволу убитого вальдшнепа, сбросил с плеч рюкзак и прорезиненный плащ, наломал поблизости свежих еловых веток, застлал ими землю под сосной и накрыл сверху плащом. Колочая хвоя торчала по краям плаща — получилось что-то вроде ковра с бахромой. Раиса Михайловна перестала разговаривать и внимательно следила за его приготовлениями.

— Хорошо? — спросил он. — А потом и шалаш можем сделать.

Раиса Михайловна не ответила.

Он развязал рюкзак, раскинул посередине хвойного настила газетный лист вместо скатерти и стал расставлять вино, хлеб, закуски, разрезал колбасу, вскрыл банку консервов. В темноте не было заметно, что руки его дрожали. Он торопился.

Раиса Михайловна смотрела на все как бы со стороны, не принимая участия ни в чем. Смотрела и молчала. Только когда он выставил бутылку вина, она с какой-то печальной иронией промолвила:

— Все ясно!

— Что ясно? — насторожился Статыгин.

— Вы все продумали заранее и для себя все решили.

— А вы — нет?

Но Раиса Михайловна опять ничего не ответила. Статыгин, выжидая, пососпел немного и сказал с напускной обидой:

— Послушайте, Раиса Михайловна, где это видано, чтобы на охоту шли без вина? У нас, к тому же, и охота удачная. Не надо во всем видеть только плохое.

— Почему плохое? — негромко возразила Раиса Михайловна. — Я же за себя вам все сказала в прошлый раз.

Статыгина передернуло. Зачем она опять так? Никакой неожиданности, никакой игры... Ну что за человек, право!

— Может быть, вы возьмете на себя обязанности хозяйки на пиру? — наконец, спросил он. — Или хотите быть только гостьей?

Раиса Михайловна промолчала.

— Костер разложить?

Она опять промолчала.

— Почему вы молчите? — начал раздражаться Статыгин.

Раиса Михайловна ответила:

— Мне хорошо с вами. Разве я должна что-то говорить?

— Тогда пусть будет все, как будет. В темноте, да не в обиде, — решительно заявил он. — Садитесь. Выпьем вина.

Статыгин опустился на середину плаща, достал набор пластмассовых стопок, одна в другой, взял две самые крупные, наполнил их до краев.

Раиса Михайловна села с ним рядом и выпила свободно, не раздумывая.

— Вот консервы.

— Спасибо, я не хочу есть.

— Да?

Подул ветерок — легкий, ночной, с прокладцей. Чуть зашумели вершины деревьев. Ранней весной трудно различить, лиственный лес шумит или хвойный, и Раиса Михайловна спросила:

— Мы в чаще или в роще?

— То есть как? — удивился Статыгин.

— В хвойном или в смешанном лесу?

— Я знаю об этом не больше вашего.

Гул очередного самолета приглушил все шумы природы. Когда он смолк, оказалось, что Райкова не слышала ответа Статыгина, и потому она повторила вопрос. Но теперь промолчал Статыгин. Вино не освободило его от какой-то странной неловкости, связанности. Опять возвращалось старое. Только что все казалось естественным, простым и ясным, а вот оказывается опять все и не легко, и не просто. Да и естественно ли? Теперь ему чего-то словно бы не хватало. Чего? Смелости?

— Интересно, где тут север, где юг? — неожиданно спросила Раиса Михайловна, и его поразила явная необходимость и этого ее вопроса.

— Меня это меньше всего интересует, — ответил он.

На этот раз удивилась Раиса Михайловна.

— Вы начинаете грубить, — сказала она.

— Извините, — спохватился Статыгин. — Я просто не знаю, как мне себя вести, что делать.

Раиса Михайловна посмотрела на него долго, пристально и сказала тихо, неторопливо:

— Делайте что хотите, я не буду вам мешать. И стесняться вас не буду, мне уже все равно.

И опять прямота ее слов неприятно поразила Статыгина. Сидя рядом с нею на мягкой лесной постели, он растерянно озирался. Но в этот миг невдалеке от них раздались чьи-то людские голоса, и Раиса Михайловна от неожиданности испуганно припала к нему. Растерянность сразу оставила Статыгина. К тому же и голоса быстро удалились. «Развязности мне не хватает, вот чего, просто развязности», — подумал он и, сделав над собой усилие, стал смелым и развязным.

И тогда Раиса Михайловна осторожно, но решительно отстранилась от него.

Статыгин искренне удивился этому.

— Вы что?

— Так не надо! — сказала она.

— А как надо, вы знаете? Я ничего не понимаю.

— Чего вы не понимаете?

— Вас не понимаю. Почему вас кидает из стороны в сторону?

— Надо понять! Мне же хорошо с вами.

— Та-ак! — еще больше удивился Статыгин. — Что же это должно означать?

Раиса Михайловна тоже почувствовала себя несколько растерянной:

— Просто я как-то не так все себе представляла.

— Ну и ну! — сказал Статыгин. — Что же тогда делать? Может быть, все-таки разложить костер?

— А разве он нужен?

— Тогда давайте выпьем вина еще.

— Давайте еще, — охотно согласилась Раиса Михайловна.

Статыгин наполнил стопки, они выпили еще. Раиса Михайловна пила вино и внимательно, выжидательно смотрела на своего спутника, следила за ним. И он не выдержал ее взгляда:

— Почему вы так смотрите на меня? Почему вы ничего не говорите? — встревожился он.

— Разве я ничего не говорю? Я просто не знаю, что я должна говорить и делать. Хотите, я буду вас называть Ваней? Это... успокоит вас?

— А разве я нервничаю? — обиделся Статыгин. — Я не нервничаю. Я просто не понимаю вас.

Но Статыгин не просто обиделся. Последние слова Раисы Михайловны, ее вопрос: «Это... успокоит вас?» — оскорбили его, и сейчас единственным и естественным для себя поведением он снова посчитал развязность.

— Я не это имела в виду, — брезгливо отстранилась Раиса Михайловна.

Но он уже не хотел слушать ее, он заметил ее брезгливость и оскорбился еще больше:

— Мне наплевать, что вы имели в виду. Кокетничаете вы, что ли, со мной? Молчите лучше. Ну вас к черту со всей вашей химией!

— Как это вам наплевать? — возмущилась вдруг и Раиса Михайловна. — Я так не могу! Не могу! Поняли?

Раиса Михайловна почти кричала, но она и сама еще не очень понимала себя и удивлялась своей решительности, совсем не той решительности, к которой она себя готовила.

— Я так не могу! — твердо повторила она.

— А мне наплевать, что вы не можете! — уже со злобой зашипел Статыгин.

Но, обнимая Раису Михайловну и ощутив крепкий запах ее духов, он вдруг, словно проваливаясь куда-то, судорожно втянул в себя влажный весенний воздух. Запах духов, но этого было достаточно, чтобы Статыгин почувствовал, что вместе с ним он вдохнул в себя какую-то отраву. Что-то схватило его за горло, расперло легкие, словно он обжег их и не может, не в силах сделать выдоха. Нечто подобное с ним уже случалось, но не при таких обстоятельствах, а дома или на службе, которую он не любил, в прокуренном кабинете, из-за какой-нибудь нервной вспышки. Страх охватил Ивана Ксенофонтовича, сердце его начало биться испуганно и часто. И когда Раиса Михайловна оттолкнула его, он втайне, в глубине души своей обрадовался этому, обрадовался, что она, может быть, избавляет его от чего-то очень постыдного, позорного, куда более невыносимого, чем все остальное, возможное на свете.

— Чего вы не можете? — с трудом произнес он, скрывая, что задыхается, и в то же время думая: заметила ли она, что с ним произошло?

Должно быть, Раиса Михайловна ничего не заметила. Она в этот момент занята была собою, своими переживаниями. Она старалась разобраться в том, почему только что поступила совсем не так, как хотела, к чему готовилась. Что заставило ее изменить себе, своему первоначальному решению? И изменила ли она себе? Сосредоточившись на этом, стараясь до конца понять себя, она хотела сейчас только одного: успокоиться самой и

успокоить Ивана Ксенофонтовича, и чтобы не было ничего обидного между ними, даже обидных слов. Ведь ничего еще не произошло, значит, и ничего не кончилось. И когда она заговорила, наконец, в голосе ее была только растерянность, только мольба — не горячиться, не оскорбляться, а понять вместе с нею, что же такое происходит между ними.

— Иван Ксенофонтович! Голубчик! Не злитесь на меня. Я не хотела вас обидеть. Я не играю, не кокетничаю. Но я так не могу. Мне самой казалось раньше все просто. И я хотела, чтобы так и было, просто. Я даже говорила об этом, смеялась: целомудрие, ханжество... А вот, оказывается, не хочу, чтобы все просто было. Неужели же вам нечего было сказать мне, Иван Ксенофонтович? Так-таки ничего и не скажете? И голова у меня не закружится? И радости никакой не будет? Только вино — и все? Но это же стыдно, оскорбительно даже. В этом есть какая-то нечистоплотность. Вино ничего не может заменить. Вы же сами повторяли: весна, любовь, вальдшнепы... Но ведь и вальдшнепы что-то говорят друг другу. Почему же вы молчите?

Статыгин меж тем овладел собою и перестал задыхаться. «Цырк-цырк!» — хотелось сказать ему, чтобы все сразу превратить в шутку. Но он не посмел: слишком искренне и трогательно было огорчение Раисы Михайловны, слишком просяще, доверчиво звучал ее голос. «Значит, она ничего не поняла!» — ликовал он в душе, постепенно успокаиваясь и избавляясь от стыдного страха за свою мужскую репутацию.

— Я постараюсь понять вас, Раиса Михайловна, — сказал он. — Но вы забыли, что сами не хотели, чтоб я говорил. Вы запрещали мне говорить о любви.

Раису Михайловну обрадовали даже такие его слова:

— Но сейчас я разрешаю. Я прошу, чтобы вы говорили. Оказывается, мне это... для меня это необходимо, — и во всем ее лице были недоумение и печаль.

— А я сейчас-то не могу говорить. Не могу по заказу, — жестко сказал Статыгин.

— Вот видите, и вы тоже...

— Что — и я тоже?

— И вы не можете так... Оказывается, одного желания любви еще мало. И любопытства одного мало...

Статыгин встал, отошел в сторону, ощупью наломал с нижних веток елей охапку сухих мохнатых сучков и, чиркнув спичкой, принялся разжигать огонь.

— Не надо! — негромко попросила Раиса Михайловна.

— Опять не надо... Но вы простудитесь. Вы дрожите. К тому же... у меня астма,

— У вас астма? — удивилась она.

Статьгин снова чиркнул спичкой.

— Все равно не надо, — повторила Раиса Михайловна.

Маленький огонек не дал большого пламени. Вторая спичка догорела и потухла. Тьма стала еще гуще. И холоднее и тягостнее стало в лесу.

— Я не знала, что вы страдаете астмой, — сказала она.

— Что значит — страдаю! — огрызнулся Статьгин. — Я не говорил, что я страдаю.

— Тогда что вы называете астмой?

— Душит, когда сыро, когда воздуху не хватает, вот и все. Начинаю задыхаться, выдохнуть из себя не могу, грудь распирает.

Статьгину захотелось рассказать об астме все, что он слышал, чтобы окончательно снять с себя возможное стыдное подозрение, которое, как ему казалось, все еще висело над ним. Одышка, нервное что-то... Порой даже маленькие дети страдают приступами удушья, пока не обнаружится так называемый аллерген, то самое, из-за чего возникает спазмы дыхательных путей. Достаточно бывает иногда убрать из квартиры кошку или пуховую перину, и ребенок излечивается... Какая-то молодая кокетливая женщина, мечтавшая всю жизнь о французских духах, достала наконец их и вместе с ними приобрела астму. Как только духи были полностью израсходованы, приступы астмы прекратились, и тогда она обнаружила своего врага... Еще вспомнилось: один человек начал задыхаться всякий раз, когда обстоятельство заставляли его лгать...

Но об этом, последнем, о лжи, Статьгин не хотел рассказывать Раисе Михайловне: еще поймет не так, как надо. Да и вообще, стоит ли говорить ей обо всем этом, об астме, об аллергиях, — к чему? Ведь она пока ни в чем не винит его...

Статьгин молчал долго. Раиса Михайловна успела поразмышлять и как-то определить свое отношение ко все-му происшедшему.

— Ну вот видите, Иван Ксенофонтович, что получается, — наконец сказала она. — Видите, какие мы с вами забавные люди. У вас — астма, а я, оказывается, не могу обойтись без красивых слов, без романа. И все-таки костер разжигать не надо. Астма — астмой, а...

— Да что вы к астме моей пристали! — взъелся Статьгин. — Надо, не надо... При чем тут астма!

— И вправду, при чем тут астма, — спокойно согласилась Раиса Михайловна, поднимаясь с хвойного настила. — Мы просто еще не нашли друг друга. А что такое найти друг друга, я сама не знаю. Вы говорили как-то: свободный поиск, исследовательский подход, постоянное открытие друг в друге каких-то дорогих черт челове-

ских... Дело, вероятно, и не в уме, и не в культуре, и не в сходстве характеров. А в чем — кто знает? Мы просто еще не встретились с вами. Все на психологии. Вот была я знакома в Армении с одной семьей. Знаменитая семья, хорошо обеспеченная, так сказать — «высшие сферы». А единственный сын взял да и привел в семью продавщицу из магазина. Влюбился! Ну, взялись за нее, стали приобщать к музыке, к литературе, к живописи. Она приобщилась, и что бы вы думали? Полюбила другого. Вот, Иван Ксенофонтович!.. Мне кажется, мы даже не просто не нашли друг друга, а мы все выдумали, мы выдумали друг друга. Все у нас не настоящее. Нет естественности в наших отношениях. Все — от задания. Сами себе наперед задачу ставим. А говорим о раскрепощенности чувств, об искренности. Нет у нас свободного дыхания, вот и астма. Но вы не обижайтесь. Пойдемте на станцию. Пока все хорошо, и мы ни в чем друг перед другом не виноваты.

И все-таки на мгновение горестное подозрение мелькнуло в сознании Раисы Михайловны. Может быть, Иван Ксенофонтович не без умысла заговорил об астме? Что-то за этим стояло? Почему он так отпрянул от нее и словно бы даже обрадовался возникшим осложнениям?..

Грустно стало Раисе Михайловне, грустно и печально. Нет, не торжествовала она, никакой победы над собой она не одержала.

Шли неделя за неделей. Доверчиво распустились листья деревьев, зазеленели не только рожи и луга, но даже городские жидкие скверики, старавшиеся походить на настоящий лес, и в них появились птичьи гнезда. Небо стало совершенно неизвестным: ранней весной на нем лишь кое-где, как проталинки, возникали редкие голубые полянки, а сейчас все оно расчистилось и рассиялось — густо-синее по утрам, бирюзовое в полдень, розовое на закате, с прямыми, отчетливо видимыми солнечными лучами, как на детских карандашных рисунках. Нечастые облака выглядели на небе случайными, чужеродными образованиями, они быстро исчезали. Самолетов и вертолетов проходило по небу больше, чем облаков. Вертолетов особенно много появилось с началом устойчивой теплой погоды, они висели в синеве, как большие стрекозы над озерной глубиной.

А на городские улицы высыпали легковые машины индивидуальных владельцев, все те, что в течение зимы обычно находятся на консервации в переулках, во дворах, в самодельных металлических гаражах.

Улицы прихорашивались, готовились к весеннему празднику. И люди

весной стали наряднее, улыбчивее, общительнее, казалось — все тянулись друг к другу, все друг другу хотели нравиться.

Многое менялось. Только Статыгин и Райкова не искали новых встреч друг с другом.

— У тебя в руках я будто в корнях большого дерева: покойно душе и телу, — говорила Полина Васильевна мужу.

Они лежали в постели, в комнате Ивана Ксенофонтовича, которая одновременно служила спальней для обоих. В комнате Полины Васильевны, постоянно загроможденной чертежными досками, разными проектами, подрамниками, стояло еще пианино, и для кровати места не оставалось.

На письменном столе Ивана Ксенофонтовича горела лампа с широким молочного цвета абажуром, прикрытая еще газетой, отчего в кабинете стоял полумрак, а в световом кругу на потолке проступало изображение лысого человека, перенесенное с газетной полосы.

Супруги не жились, утомление проходило медленно. Но Полина Васильевна не могла подолгу молчать.

— Я встретила вчера Райкову, Раису. Трудная она все-таки. И странная. Вдруг испугалась меня...

— Нашла время, о чем говорить... — попытался остановить ее Иван Ксенофонтович. — Потуши-ка лучше лампу!

Но Полина Васильевна не умолкала.

— Что-то с ней происходит неладное. Уж не замуж ли вышла? А может, что другое? Совсем дикая стала. — Потуши, говорю, лампу!

— Пускай горит. Мне кажется, что такие, как Райкова, никогда не могут быть счастливы в браке, не пригладишь их.

— Так и мне кажется, не пригладишь.

— Помочь бы ей надо, а чем, как? Ничего не придумаю.

— И я тоже, — буркнул Иван Ксенофонтович.

— А верно, Ваня, — вдруг обрадовалась Полина Васильевна своей новой идее. — Может быть, тебя к этому подключить? Одинокие женщины как-то легче идут на прямой разговор с мужчинами. К нам они относятся с непонятной настороженностью.

— Подключи, дура! — согласился Иван Ксенофонтович, косясь на жену с удивлением и недоверчивостью: либо она слишком пронизательна, либо совершенно не умеет вглядываться в чужие души, и он смешно ошибался, когда столько лет думал о ней иначе. — Не пойму я тебя, издеваешься ты надо мной, что ли?

— Ну что ты, Ваня, зачем так, я же тебя знаю. Ты бы позвонил ей. Позвони! — настаивала Полина Васильевна.

— Хорошо, я позвоню, лежи.

Полина Васильевна продолжала увлеченно говорить, но он уже не слышал ее больше, он стал думать о Райковой.

«Конечно, мало ли что бывает в жизни? Мало ли что могло произойти с нею за это время», — думал Иван Ксенофонтович о Раисе Михайловне, и щемящее душу беспокойство овладело им. Райкова вдруг представилась ему совсем девочкой, и очень беззащитной, которая все-таки доверилась ему полностью и так легко. А он, взрослый человек, — как он ведет себя? Позвонил ли ей хоть раз, вспомнил ли о ней? Конечно, и она могла бы позвонить, а тоже ведь не звонит. Исчезла — и все! Сколько прошло уже времени — неделя, месяц, год? — она не дает о себе знать. Обидно даже. Разве он виноват в чем перед нею? Ни в чем не виноват. А все-таки тревожно и нехорошо на душе. Может, и впрямь что-то произошло, какие-нибудь перемены в ее жизни, а ему даже неинтересно. Как неинтересно? Нет, интересно. А может, она и впрямь замуж вышла?..

— Где ты, Ваня? — спросила его жена.

— Хорошо, я позвоню! — повторил Иван Ксенофонтович.

— Только ты не наглупи, пожалуйста, — предупредила Полина Васильевна. — Знаю я тебя. Начнешь допрашивать, а надо поделикатнее. Может, она влюбилась в кого-нибудь и оттого такая дикая стала.

— Ну, это ей, по-моему, не грозит, — натянута рассмеялся Иван Ксенофонтович.

— Это всем грозит в разное время. Много ты понимаешь в любви.

— А ты больше понимаешь? Скажи тогда, что такое любовь?

— А ты все еще не уяснил себе, что такое любовь? — съязвила Полина Васильевна.

Иван Ксенофонтович ответил:

— И никогда не уясню, если будешь отвечать вопросом на вопрос.

— Что ж, поговорим о любви. Применительно к нам, конечно. Ты ведь этого хочешь?

— Давай, давай! В кои-то веки...

— Ну так вот, слушай в кои-то веки... Что такое любовь, я не знаю, да и никто этого не знает...

— Вот и я так думаю! — поспешно и вроде бы с удовлетворением согласился Иван Ксенофонтович и засмеялся.

Полина Васильевна тоже засмеялась:

— Еще бы ты не так думал, если я так говорю. Ну, ладно. По-моему, когда есть настоящая любовь, разные мелочи отходят на второй план, так называемое несходство характеров сглаживается, многое прощается друг другу. Ты понял меня? Любовь — это

когда люди терпимее относятся друг к другу. И восхищение, и умиление вызывает то, что в иных случаях только бы раздражало. Что тебе еще сказать? Какое-то зацепление должно произойти сначала, озарение какое-то, взаимный интерес друг к другу, а потом уже постепенно выравниваются отношения, согласовываются частности, подгоняются детали... Бес, ты меня понимаешь?

— Понимаю тебя, Фауст. А ты не об архитектуре говоришь? — спросил Иван Ксенофонтович.

— Что ж, в архитектуре тоже все основывается на любви. Сначала тебя заинтересовывает общий план сооружения, ты своим внутренним зрением, воображением своим как бы увидишь его целиком, сразу со всех сторон, потом войдешь в него и полюбишь и уже будешь отстаивать это сооружение таким, каким его увидишь, чтобы жить в нем. Архитектор и его творение должны походить друг на друга. Любящие тоже со временем становятся даже внешне похожими друг на друга. А начинается все с поиска...

— Со свободного поиска? — с удивлением услышав собственные слова, сказанные им когда-то Райковой, перебил Иван Ксенофонтович жену. — Ты ни с кем не согласовывала своего выступления? Консультировалась с кем-нибудь?

Полина Васильевна ничего не поняла, но насторожилась.

— Почему ты никогда не можешь обойтись без иронии? Что это значит, Ваня? — сказала она и сбросила с себя одеяло.

Но Иван Ксенофонтович не дал ей подняться с постели. Мелочи жизни отступили на второй план, наметившееся было несходство характеров исчезло.

— Ладно, давай спать! — сказал Иван Ксенофонтович, потом встал сам и потушил лампу.

На белом потолке потухло примелькавшееся фотографическое изображение человека. Зато окна озарились светом с улицы.

На другой день, к вечеру Статыгин позвонил Райковой из автомата. Услышав его голос, Раиса Михайловна тотчас бросила трубку. Он ожидал чего угодно, только не этого. Между прочим, он предполагал, что Раиса Михайловна может заговорить с ним резко, как это бывало не раз, вызываясь: «Что вам еще нужно от меня? Я занята. Привет жене!» Но чтобы так сразу бросить трубку, сразу, не сказав ни слова, — этого он не ожидал.

Что это могло означать? Просто нежелание общаться с ним или что-то другое? Может, она презирает его? Статыгин отчетливо представил себе, как Раиса Михайловна сжала в ничточку и без того тонкие губы, и черные глаза ее ожесточенно заблестели.

В них появилась оскорбительная холодная глубина, глубина умная и поэтому настораживающая, от нее нельзя не съезжиться.

Да, от этой женщины слабости не жди. Если что не по ней, отвернется и будет заниматься своими колбасами и пробирками. Так Статыгин представлял себе ее работу.

Но что бы ни означал поступок Раисы Михайловны, не пожелавшей разговаривать с ним, он успокоиться уже не мог. Тревога и тоска охватили его, и собственная жизнь вдруг показалась ему жалкой и неудавшейся.

В будку автомата начали стучать. Статыгин спохватился, что, позвонив и повесив трубку, он остался стоять у телефона.

— Что, дядя, в голову ударило? — рыкнул на него подросток.

Статыгин поспешно вышел из будки и, не отвечая, торопливо зашагал к дому.

То слева, то справа от него вскрикивали автомашины, ругались шоферы — это он пересекал перекресток.

На тротуаре женщина, толкавшая впереди себя нарядный кузовок с ребенком, обругала его грубо, по-мужски, когда он, обгоняя, на секунду схватился за никелированную дужку кузовка. Извинение, брошенное им на ходу, не успокоило опасливую маму: конечно, шлопутный пешеход виноват был уже абсолютно во всем, что не нравилось ей в этом мире.

«Ничего себе первые уроки языка! — подумал Статыгин, с удивлением обернувшись на мамину брань. — Вот будет сынок», — и тут же успокоил себя, что в коляска, вероятно, не мальчик, а девочка... Шел он быстро, а мысль его вращалась медленно: «Пожалуй, за коляской идет не мать, а няня, которой наплевать, чему научится от нее чужой ребенок. Мать, конечно, не стала бы так ругаться»...

Коляска осталась уже далеко позади, на Статыгина ворчали другие встречные пешеходы, сталкивавшиеся с ним, а он все еще продолжал думать о случившемся. Наконец он решил, что в коляске грудной ребенок, которому все равно, каким языком изъясняются окружающие его взрослые. Он же еще не понимает никаких слов...

Больше уличная история его не занимала. Но, дойдя до своего подъезда и подержавшись за дверную скобу, Статыгин вдруг резко повернул обратно и бросился к автобусной остановке. Он и сам бы не смог сказать, что вдруг потянуло его к Райковой, к Раисе Михайловне, после того как она не захотела разговаривать с ним по телефону. Мужское оскорбленное самолюбие, или простое любопытство, или действительная обеспокоенность судьбой близкого? Ведь не исключено было, что он ринулся навстречу неприятностям. «Почему без разреше-

ния? — могла грубо спросить его Раиса Михайловна. — Кто вас звал?» — или что-нибудь в этом роде. А то не постесняется выкинуть что-нибудь и почище. От такой всего можно ожидать. К любой неожиданности готовься, ступая на ее порог. И выгнать может, очень даже просто. Разве все предусмотреть?

Но для Статыгина сейчас важно было только, что она у себя дома.

Правда, в общежитие он вошел все-таки не сразу, а прежде покружил по двору, посидел на скамейке в сереньком двореком скверике, словно ожидая, что Раиса Михайловна сама к нему выйдет навстречу, и раздумывал — уж не вернуться ли? Пыл его остывал, и чем дольше он медлил, тем неопределеннее казались ему причины, побудившие его так неожиданно оказаться здесь.

Из дверей общежития никто не появлялся, и Статыгин, наконец, решился. Вот лестница... Он стал подниматься по ней. Не побежал, как могло быть, если бы он влетел сюда сразу, а пошел неторопливо, сосредоточенно — так поднимаются по лестницам сердечники и астматики. Может, все-таки повернуть обратно? Зачем он идет сюда, что его тянет? Любовь к приключениям или желание настоящей любви? Опять свободный поиск? Сейчас она покажет ему свободный поиск! Третий этаж... Темно, уютно. Потом длинный коридор... И ни одной живой души.

И, конечно же, Статыгин не мог предусмотреть того, что с ним произошло в следующий момент.

В фанерную дверку комнаты он постучал громко, без слов. Раиса Михайловна, еще не зная, кто стучит, крикнула:

— Нельзя! Минутку!

«Значит, в комнате она одна, — подумал он. — Ну, что ж!..»

Тотчас же из-за двери донесся другой крик, резкий, властный:

— Входите!

Статыгин вошел.

Раиса Михайловна, должно быть, прибирала комнату и второпях что-то еще бросила в дальний угол, затем она задернула занавеску на ширмочке и, обернувшись, настороженно вскинула голову.

Увидев перед собою Статыгина, она замерла и как стояла у стола, так и остановилась, застыла, не шевелясь, и нельзя было решить, что сделает она в следующие секунды. А она ничего не сделала. Она не двигалась. А из глаз ее вдруг полились слезы. Самые настоящие слезы. Появление Ивана Ксенофонтовича для нее оказалось слишком неожиданным, она не подготовилась к встрече. Она заплакала.

Шелковый стандартный абажур под потолком был ярко-розовым, и по щекам Раисы Михайловны потекли ро-

зовые слезы. Они не капали, они текли по лицу к губам, попадали в рот, текли мимо рта, по подбородку, пугающе кровенели и исчезали где-то ниже подбородка. Их было много.

Тонкие губы Раисы Михайловны, которые она никогда не красила, тоже вдруг стали красными. Красными и толстыми, словно разбухли от слез.

Раиса Михайловна не вытирала слез, руки ее недвижно висели вдоль напряженно застывшего тела. Похоже было, что сама она не заметила, как заплакала, и не чувствовала, не знала, что плачет.

Ее слезы видел только Статыгин. Оказалось, что он также не подготовился к встрече и был поражен ею не меньше, чем Раиса Михайловна. Особенно его поразило, что она плачет, что Райкова может плакать. Этого он никак не мог ожидать от нее. Давно ли она со злобой, как ему представлялось, бросила на рычаг телефонную трубку. Кажется, еще и сейчас он слышит сухой металлический щелчок. Да и пришел-то он сюда, может быть, только потому, что она не захотела с ним разговаривать по телефону. И вот она стоит перед ним, не кричит и даже не говорит никаких обидных слов, стоит и плачет. Плачет как-то странно, строго. А в комнате тихо и светло, розово. Полумрак стоял только за ширмочкой, за которую вход был воспрещен всем, и Статыгин старался даже не глядеть в ту сторону. Оконная фрамуга была открыта на всю ширину, и в комнате дышалось легко, воздух был свежий, чистый, слегка пахло духами.

Первым заговорил Статыгин:

— Простите, Раиса Михайловна, но я не мог...

Розовые, почти красные слезы потекли по бледным щекам Раисы Михайловны еще обильнее, но она не всхлипнула, не шелохнулась, не бросилась к нему на шею — ничего такого не произошло. Она только сказала, когда, сглотнув, смогла хоть что-нибудь сказать:

— Вы правильно сделали. Спасибо!

Статыгин еще ни разу не видал, что так могут плакать женщины. Лицо ее не выражало ни слабости, ни растерянности. Оно не искажалось, не изменялось, только стало еще холоднее, спокойнее и, пожалуй, высокомернее. И сама она при этом не сгибалась, не сутулилась, даже голову не пригнула нисколько, а, наоборот, выпрямилась вся надменно и строго.

— Я не мог иначе, Раиса Михайловна, — продолжал мямлить Статыгин. — Когда вы не захотели со мной разговаривать, произошло что-то такое... Я вдруг почувствовал...

— Я же сказала, что вы правильно сделали. Я рада, что вы здесь.

Статыгин начал понемногу приходить в себя:

— Тогда почему же вы трубку бросили?

— Это получилось смешно, я понимаю, — ответила Раиса Михайловна. — Я просто растерялась от неожиданности. Но я была рада, что вы позвонили.

— Вы не ждали, что я приеду?

— Не ждала. Но спасибо, что вы пришли.

Самолюбие его было удовлетворено. Он уже мог не раскаиваться, что поддавшись своему безотчетному порыву, когда поворотил от дома к автобусной остановке и поехал к ней в общежитие.

— Но вы понимаете, что со мной происходит? — спросил он.

За этим вопросом вряд ли что-нибудь стояло. Статыгин и сам не мог бы сказать, что с ним происходит, да и происходило ли что-нибудь такое, на что он, по-видимому, хотел намекнуть?

Раиса Михайловна ответила:

— Я старалась лучше понять, что происходит со мною, меня это больше почему-то занимало.

— Что же происходит с вами?

Сейчас Статыгин уже понимал, о чем спрашивал. А Раиса Михайловна, как бы взглянув на себя со стороны, вдруг заметила, что она плачет, и, вытерев рукой слезы на лице — рукой, а не платком, — села на стул, затем, спохватившись, попросила сестры и Статыгина.

Статыгин сел на соседний стул.

Тогда она сказала:

— Наверно, мне нужно было больше думать о вас, а не о себе. Но, признаюсь, я больше думала о себе.

— Что же вы надумали? — продолжал допрашивать Статыгин.

— Я, видимо, люблю вас, Иван Ксенофонтович, люблю, не считаясь с тем, как это вы можете принять.

Конечно, Статыгин уже не раз хотел услышать от Раисы Михайловны эти слова, но сейчас, когда он их услышал, ему показалось, что слова эти Раиса Михайловна произнесла как-то слишком поспешно и резко, слишком деловито, что ли. И, вроде бы, не такими они, эти слова, оказались, какие хотелось ему услышать, не такими они воображались ему. Игры, что ли, опять какой-то ему не хватало?

— Да, я люблю вас, Иван Ксенофонтович, — продолжала Раиса Михайловна. — Мне думается, что и встреча наша не была случайной. И все, что было потом, должно было случиться и не могло происходить иначе.

— Ну, что ж... — начал было Статыгин и осекся, почувствовав всю неуместность, неловкость такого начала. Но ведь нужно же было что-то говорить, чем-то ответить на признание Раисы Михайловны.

Никакой радости от того, что про-

изошло, он не испытывал. Он скорее растерялся и даже испугался немного серьезности, с какой Раиса Михайловна сказала ему о своей любви. А когда она молча заплакала снова, ему стало даже неприятно. Он не хотел видеть никаких слабостей с ее стороны, не хотел чувствовать себя в чем-то виноватым перед нею. Разве это победа, если оказалось вдруг, что Раиса Михайловна нуждается в его утешении, в защите? Почему он должен утешать ее, защищать? От кого? Ему легче было бы опять повернуть весь разговор в шутку, острить и пикироваться с нею, как это бывало раньше, чем брать на себя роль защитника и утешителя.

Однажды его собака несколько часов подряд гоняла зайца, а он никак не мог угадать заячьи переходы, перехватить и подсесть зверька, и когда тот, измученный, бросился от собаки прямо к его ногам, под его защиту, он пнул не зайца, а собаку. Гончар взвизгнул от обиды и недоумения и ушел в лес. И сколько в тот день ни ласкал хозяин своего пса, сколько ни пытался заставить его забыть обиду и снова приняться за работу, гончар только вилял хвостом да скулил. Казалось, он спрашивал: не то, что ты хотел, разве тебе не заяц был нужен?

Статыгин больше всего боялся, что Раиса Михайловна станет задавать ему вопросы, потребует, чтобы он отвечал на них. Он не готов был отвечать, он не хотел отвечать на них.

В душе у него опять появилось ощущение человека, вернувшегося с веселой прогулки: палка поставлена в угол, и легкое беззаботное настроение постепенно сменяется сосредоточенностью и раздумчивостью. Игра окончена, а для серьезных решений и поступков у него не было ни сил, ни охоты.

Но Раиса Михайловна и не спрашивала его ни о чем, она еще не выговорила сама.

— Я сознательно ограждала себя от любви, — продолжала она. — Передо мною стоял образ моей матери, образ моего отца. Я не могла забыть о той семейной жизни, которую знала с детства. Мне казалось, что любовь — это обязательно семейная жизнь. И я боялась полюбить кого-нибудь. Я и вас боялась полюбить, Иван Ксенофонтович. Потом я решила, что и не надо любви. Можно так. Но вы знаете, что так я не смогла, мне стало стыдно за себя. «Петька хромой» меня не устраивал. Но если с детства пугалом казалась семья, почему же и любовь — пугало? Любовь должна существовать сама по себе, ее нельзя выдумывать, она приходит к человеку потому, что человек хочет любить, и он должен любить. От любви нельзя отказываться, правда, Иван Ксенофонтович? Для

чего все на земле, если не будет любви? Зачем тогда и жить? Но я вам не даю слова молвить! — спохватилась вдруг Раиса Михайловна. Слезы на лице ее уже высохли, в глазах появились оживленные огоньки, а голос стал мягким, добрым.

— Да, это уже философия! — только и смог сказать Статыгин.

Раисе Михайловне достаточно было и этого.

— Вот так я всегда, — упрекнула она себя, — все о себе да о себе. Одну себя слушаю. Простите меня, Иван Ксенофонтович! Но я очень рада, что вы пришли. — И опять она не могла остановиться, как будто возможность поговорить о себе представилась ей впервые в жизни. — Я уже не хотела было совсем встречаться с вами и думала, что никогда ничего не смогу вам объяснить. А оправдываться я не умею... Не хотела встречаться, а сама все ждала, ждала встречи. И презирала себя за это — беспомощную, дряблую, нелепую, корила себя за отступничество, за потакание своим бабским инстинктам. Если уж я с собой справиться не могу, думала я, то что можно ожидать от такого человека, как вы! А вас я постоянно видела перед собой: большого, лохматого, страшно робкого. На вас нельзя обижаться, Иван Ксенофонтович! Мне только стыдно перед вашей женой, перед этим человеком стыдно...

— О Полине Васильевне не надо говорить! — перебил ее Статыгин.

Раиса Михайловна взглянула на него, видимо, поняла, кажется, не нашла в его замечании ничего обидного для себя, а потому сказала:

— Хорошо, я не буду! — и опять продолжала рассказывать и рассказывать о себе, обо всем, что ей приходило в голову.

«Только бы не молчать, только бы говорить! Говорить о чем угодно, только бы говорить!» — казалось, решила она про себя.

— Вам может показаться странным, Иван Ксенофонтович, а я все-таки хочу похвастаться: я скоро буду богатой невестой! Уже есть решение предоставить мне однокомнатную квартиру, совершенно отдельную, совершенно обособленную квартиру. Вы понимаете, что это означает в наше время? Шутки в сторону! Я впервые в жизни буду сидеть у себя дома, на своем раскладном диване, смогу зажечь свет в любой час ночи, и никого это не потревожит. Смогу даже включить радио, когда захочу, ну, конечно, не слишком громко, и никому это не помешает. Смогу раздеться, вымыться, одеться, делать с собой все, что захочу, все, что мне вздумается, и никто не посмеет мне сделать какое-нибудь замечание. Я, наконец, получу возможность иметь свой собственный письменный стол и работать буду

у себя дома, вы понимаете, дома, а не в читальном зале, не в учреждении, не в комнатах общего пользования. Это значит, что я буду человеком, что у меня появится так называемая личная жизнь. Это же чудо! После стольких лет мытарства по общежитиям — в университете, здесь... Дома, у отца, я жила тоже, как в общежитии. И вдруг отдельная комната! Да не комната — отдельная квартира! Нет, это будет не квартира, а особняк, Райкина резиденция! Вы понимаете, что это будет? Чудо!

— Чудо! — подтвердил Статыгин.

Раиса Михайловна постепенно увлеклась, ликующему воображению ее представлялись волшебные картины, небывалые возможности, неиспытанные наслаждения.

— Наверно, и балкон будет, как вы думаете? Балкончик! А на балкончике раскладушка. Летом можно спать на балконе, всегда свежий воздух, всегда одна.

Статыгин был благодарен Раисе Михайловне, что она ни о чем его не спрашивает, но чувствовал, что все-таки должен как-то поддерживать разговор, вставлять какие-то слова в ее взволнованную речь. Правда, до него не доходила серьезность, с какой она рисовала свое будущее, и ему хотелось все превратить в шутку, ему легче было шутить.

— Прямо хоть ломай свою жизнь да замуж за вас выходи! — сказал он.

Но Раиса Михайловна не приняла его шутки. Она сказала:

— Будет кухня. Наверно, с газом. Горячая и холодная вода. Я заведу поливиниловый фартук с карманчиками и буду принимать вас на кухне. На плите шипит, шкворчит, пузырится, а вы сидите и ждете, и около вас, на столе, стоит уже бутылка вина. Какое вина вы хотите на первый раз?

Такой вопрос не мог обескуражить Статыгина. Если бы все вопросы были такие...

— Вино ничего не может заменить, Раиса Михайловна! — сказал он, вспоминая точно такие же слова, когда они пили вино в лесу, и рассмеялся, хотя ему совсем не было смешно.

— Я понимаю! — по-доброму улыбнулась Раиса Михайловна. — Закуска тоже будет отборная, вы будете довольны.

— И потащите вы в свой дом чашки, ложки, ложки, поварешки. А потом сервизы, а потом хрусталь. Слоников купите... Китайского болванчика...

— Слоников, наверно, не куплю, а все остальное обязательно. И не китайского болванчика, а нашего Ваньку-встаньку. Сервант, конечно, будет тоже. В сервант на первых порах я поставлю эмалированную кружку с зубной щеткой и пастой, два граненых стакана да несколько мензурок

с делениями из химлаборатории — тоже посуда! Это будет мое девичье приданое. — Раиса Михайловна разве селилась. — Потрясно, как говорится?

— Потрясно!

— Но мензурки — это не надолго, будьте спокойны, Иван Ксенофонтович. Сейчас я готовлю деньги на мебель. Вы знаете, какая существует мебель на свете? Легкая, портативная, абстракционистская, наверно, но до чего же удобная! Сотрудницы меня уже обо всем информировали.

— Фу, черт! — воскликнул Статыгин. — Полное перерождение!

— Какое перерождение? Перерождения бывают разные. Что вы имеете в виду? — Раиса Михайловна не допускала мысли, что можно иронизировать над ее мечтой о новом устройстве жизни.

— Я не узнаю вас, — ответил Статыгин. — А как же с химией? Прощай, докторское звание? — патетически воскликнул он. — Мне жаль человека, когда в нем пробуждается женщина!

— Ну, можно ли так шутить, Иван Ксенофонтович!

Но, упрекая его за шуточный тон, она вовсе не думала, что он шутит. Сама она говорила обо всем совершенно серьезно и, увлеченная своим рассказом, не вникала в слова. С такой же серьезностью она стала и возражать ему:

— Я же мечтаю и о книжных полках, о своей библиотеке, из которой нужные книги не будут исчезать в самое неподходящее время. Впрочем, своя ванная, пожалуй, так же необходима, как библиотека.

— Я не узнаю вас! — нарочито громко повторил Статыгин.

— Бросьте, Иван Ксенофонтович! Вы бы лучше порадовались, что у меня будет отдельная квартира. А сейчас у меня ничего нет для вас, кроме четырех квадратных метров за ширмой. Хотите заглянуть в мой угол?

Вот это был вопрос! Один из тех вопросов, которых сегодня боялся Статыгин, боялся с самого начала, как только Раиса Михайловна всерьез, со слезами на глазах заговорила о любви. Но ответил он не раздумывая, машинально:

— Конечно, хочу! — И встал. И добавил: — Надо же посмотреть, как живет будущая богатая невеста.

Нет, положительно не давались ему сегодня шутки!

Раиса Михайловна даже не улыбнулась, а тотчас встала, подняла ситцевую розовеющую занавеску.

Статыгин шагнул в полумрак к узенькой железной койке, застланной белым пiqueйным одеялом, с кружевной накидкой на подушке. Слева от себя, за изголовьем постели, он увидел тумбочку с набором разнооб-

разных флаконов и парфюмерных корбочек. Для лампы на тумбочке места не оставалось, поэтому она была подвешена над койкой. Рядом с лампой на стене висела небольшая полочка с книгами. Под ней какая-то картинка, какая — Статыгин не разглядел, и фотопортрет — должно быть, самой Раисы Михайловны. За перекладной ширмочки, не затянутые с внутренней стороны материей, были зацеплены плечики с платьями и кофточками — весь гардероб на виду. Стульев не было. Нет, был один стул, но на нем лежала дамская сумка, а на спинке висела шерстяная кофта, поэтому Статыгин не сразу заметил его.

Все в этом девичьем уголке было миниатюрное и какое-то милое, интимное. Статыгин раньше таким и представлял себе этот уголок, но сейчас он не знал, как себя вести здесь. А Раиса Михайловна стояла за его спиной и молчала, ждала, что скажет он. Он ничего не сказал, ему нечего было говорить, и тогда она предложила:

— Садитесь, Иван Ксенофонтович!

Статыгин оглянулся на нее растерянно и виновато.

— Садитесь! — ласково повторила она.

Он сел на кровать — стульев же не было! Сел, улыбаясь смущенно и растерянно.

Он сидел за ширмой, за которую совсем еще недавно, зимой, заглядывал воровато, с любопытством и вожделением. Прошла зима, наступило потепление, весна пришла. Весной были встречи. Были разговоры: «Мы еще не нашли друг друга», «Мы просто еще не встретились». Но и та встреча настала, и все пришло к нему, чего он хотел, а потеплело ли в его душе? Нашел ли он то самое, на что тайне все-таки надеялся? И та ли это встреча?

Вот сидит он на девичьей кровати, и все понимает, и ему неловко за самого себя, будто ворвался он, взрослый человек, в комнату девочки-студентки, не ведающей, на что она решается, но уже готовой, чего бы это ей ни стоило, стать взрослой, девочки, перепуганной до смерти, зажмурившейся от страха, но делающей вид, что ей море по колено. А на самом-то деле ей лужа по уши. И настолько ему все это кажется случайным, почти неприличным, что он боится больше за себя, чем за нее. Страх чего-то нехорошего, стыдного сковывает его движения, связывает язык, и он, как мальчишка, опускает глаза.

— Ну как, Иван Ксенофонтович, нравится вам моя келья? — спрашивала его между тем Раиса Михайловна. — Теперь вам ясно, почему можно мечтать о настоящей, о своей комнате, о квартире?

— Ясно! — ответил Статыгин.

— Извините, мне пока нечем побаловать гостя, не шипит, не шкворчит, да и фартука кухонного у меня нет.

— Нет! — повторил Статыгин.

Раиса Михайловна все еще стояла в проеме ширмы, придерживая рукой ситцевую занавеску, и смотрела на него сверху вниз. Но вот рука ее опустилась, занавеска упала, полумрак за ширмой погустел. Тогда она торопливо зажгла лампу над головой Статыгина и села с ним рядом на койку. Казалось, Раиса Михайловна глуха была ко всему, что он сейчас переживал, она думала только о себе самой. «Вот так я всегда...»

Когда вспыхнула лампа, Статыгин увидел на стене черно-белую репродукцию, которую раньше по-настоящему не разглядел, и на ней — изображение знакомой церквушки, еще не запущенной, не разваливающейся. Кроме церквушки на картинке были берега реки, и луга, и густо разросшиеся кусты вокруг.

Раиса Михайловна заметила его взгляд и, кивнув в сторону репродукции, спросила:

— Вы узнали эти места? Это же Спас Покрова на Нерли, наша красавица! Помните? Неужели не узнали?

— Узнал! — ответил Статыгин.

Раиса Михайловна обрадовалась:

— Вот видите! Это же наша! Я не могу смотреть на нее без волнения. Мы там впервые встретились с вами. Именно там! Вы еще вскарабкались каким-то образом на крышу. И все на вас смотрели, как на мальчишку. Какая это была удивительная поездка! Ведь если бы не церквушка, мы, наверно, не заметили бы друг друга. Все помните?

— Помню, все! — подтвердил Статыгин.

— Как это здорово, что я, химик, увязалась тогда на экскурсию с архитекторами. Новые люди, новые для меня разговоры, совершенно иной мир интересов. Расширяются представления о жизни, и отдыхается лучше. Надо всегда так, переключаться хотя бы в выходные дни, а то мы однобокими какими-то становимся. Надо и в санатории, и в дома отдыха ездить не в свои, а по какому-нибудь чужому ведомству. Еще лучше, конечно, совсем не в ведомственные, а в общие. Между прочим, и знакомства, и дружбу хорошо заводить с людьми из другой среды. Вот мы с вами...

Раиса Михайловна говорила быстро, почти безостановочно и, видимо, могла так говорить и говорить без конца. Это у нее получалось свободно, без всякого напряжения, само собой. Никаких заминок, никакой необходимости придумывать, о чем говорить. Несколько связующих слов: «Между прочим», «А вы помните», — и мысль ее легко и естественно переходила

с одного направления на другое. Раисе Михайловне было хорошо, ничто ее не тревожило, не смущало.

А Статыгин чувствовал себя неловко, и говорить ему было не о чем.

— Это ваш портрет? — спросил он, указывая на фотоснимок на стене рядом с церквушкой.

Раиса Михайловна удивленно вскинула на него глаза, смутно догадываясь, что он не слушал ее совсем, но огорчения от этого не испытала.

— Нет, это моя мать, — ответила она.

— Очень похожа на вас, — сказал Статыгин.

— Это я на нее похожа. Мне об этом всегда говорили. Первая моя мачеха, когда злилась из-за чего-нибудь на меня, любила повторять, что я очень похожа на свою маму. Ей, вероятно, хотелось, чтоб и моя судьба была такой же тяжелой. Между прочим, — продолжала она, помолчав, — когда мы ездили с вами во Владимир, я уже начинала думать о возможности использования полимеров в хирургии. У медицины и химии появились новые точки соприкосновения. Биохимия... биополимеры... — все это удивительно интересно и ново. Есть такие материалы, которые в теле человека могут рассасываться бесследно либо навечно вращать в живую ткань. Разработка новой темы может стать предметом докторской диссертации. Да, кажется, именно над ней я сейчас и работаю. Сначала, конечно, я не понимала, что из всего этого может получиться, но опытов, наблюдений и записей скопилось так много, что получается именно докторская диссертация. И общаюсь я в последнее время больше, пожалуй, с хирургами, чем с химиками. Вы знаете что-нибудь о Вишневском?

— Жаль, что я не хирург, — сказал Статыгин.

— Вот вы о чем пожалели! — улыбнулась Раиса Михайловна и ласково качнулась в его сторону. — Вы все еще не понимаете, что мы с вами одни сегодня?

— Да? — сказал Статыгин, не то сомневаясь, не то подтверждая, и оглянулся вокруг.

В открытое окно проникал далекий шум улицы, не нарушавший комнатной тишины, но сейчас Статыгин услышал его. В коридоре кто-то ходил, что-то позвякивало — и эти звуки теперь стали явственно слышны. Розовое световое пятно абажура на ситцевой ширмочке тревожило, как присутствие постороннего.

А Раиса Михайловна вдруг впервые назвала его Ваней. Назвала тихо, раздельно, по слогам: «Ва-ня!»

Должно быть, это ничего не означало, ей просто приятно было произнести его имя.

— Да! — отозвался Статыгин. И

вспомнил, как в загородном лесу, тогда, она спросила его: «Хотите, я вас буду называть Ваней? Это успокоит вас?»

Вместе с этим в памяти его возникли и сырой вечерний лес, запах прелой жухлой листвы и хвои, костер, который так и не был разожжен, и от этого воспоминания ему стало не по себе.

Но мужское самолюбие не захотело уступить благородию и сдержанности. И когда Раиса Михайловна снова тихо и раздельно повторила: «Ваня!» — он сказал: «Да!» — и обнял ее.

Раиса Михайловна припала к нему доверчиво и сердечно — так доверчиво припадают к мужскому теплу солдатики, уставшие за долгие годы одиночества от всяких несбывающихся надежд и ожиданий. Так же, наверно, путник, заблудившийся в темном лесу, кидается на мелькнувший в хвойной дали огонек. И пусть этим огоньком окажется только маленький холодный светлячок или фосфоресцирующие глаза ночной птицы — все равно в его собственной груди разгорается свет. И этот свет, этот свой огонек, возникший в груди, только один и нужен теперь путнику, чтобы выжить и выйти из темного леса на большую дорогу.

Сколько у Раисы Михайловны было неуютных вечеров на шумных метельных улицах, прогулок в никуда, разговоров ни о чем — все в предчувствии какого-то одного доброго случая, после которого все изменится, все пойдет легко и счастливо. Сколько обидной опрометчивости, неосмотрительности, печальных разочарований и горьких упреков самой себе за слабость, за непоследовательность — все ради возможного чего-то такого, без чего человеку жить на земле нельзя. И вот — все позади. Подозрительность и настороженность спали. Свет бил ей в глаза, в душу — ослепляющий, чистый, святой свет любви. Свершилось в жизни в первый раз что-то очень незнакомое и непонятное, неведомое. Прежние мечты ее казались теперь мелкими и смешными — квартира, мебель, даже биополимеры, биохимия... Бог с ними! Без всего этого можно жить. Без любви жить нельзя.

Раиса Михайловна больше не могла и не хотела ни о чем говорить. Все слова покинули ее. Осталось только одно слово «Ваня», и она повторяла его без конца.

Большой, лохматый и очень робкий Ваня сидел рядом с нею, и его тяжелая рука лежала на ее плечах, а ее руки, горячие, влажные, касались его груди, лица, волос. Она молчала, нет, она разговаривала с ним, не умолкая ни на минутку, но без слов, молча. Она знала, о чем сама спрашивала его, и знала, что он отвечает ей, но все молча, только молча. Глаза ее закры-

лись — так лучше было слышно, что ей говорит Ваня и что говорит она ему.

«Ты чувствуешь, как мы давно уже знакомы с тобой?» — это спросил ее Ваня.

«Конечно, чувствую!» — это она ответила ему.

«Словно бы много, много лет?»

«Конечно, много лет! Мне порой кажется, что всю жизнь, что ни одного дня не было в моей жизни, когда я тебя не знала».

«И мы не просто знакомы, а близки?»

«Конечно, близки. Ты для меня совсем родным стал».

«А ты не боишься меня?»

«Смешно даже спрашивать об этом».

«Не боишься, что я могу обидеть тебя, нагубить как-нибудь?»

«Чудной человек! Мне даже хочется, чтоб ты был грубым».

«Странно это...»

«Почему же странно?»

«И стыдиться бы ничего не стала?»

«Может быть, немножко. Но ведь мы так давно вместе. И такие мы свои. А свои — это, наверно, и есть самое главное. Свыкнуться — тоже главное. Я к тебе очень привыкла, и потому мне спокойно и ничего не стыдно. Только почему ты такой большой, а нелепый, Ваня?»

«Какой же я нелепый?»

«Ну, осторожный. Может быть, потому, что у тебя есть жена».

«Не смей мне напоминать об этом, я тебя уже предупреждал».

«Хорошо, я больше не буду. Но мы с тобой совсем одни здесь. Понимаешь, совсем одни, Ваня!..»

— А я не волнуюсь! — вдруг сказал Иван Статыгин. Вслух сказал.

Раиса Михайловна не сразу услышала эти его слова, произнесенные вслух, а когда услышала, спросила:

— О чем вы?

Статыгин ответил ей, опять же вслух:

— Помните, в лесу вы меня спросили: «Хотите, я буду вас называть Ваней? Это успокоит вас?»

— Ну и что?

— Я тогда ответил вам: «А я не волнуюсь».

— Ну и что?

— Да так, ничего. Извините! Я просто вспомнил тот наш разговор.

Раиса Михайловна недоуменно выпрямилась, но Статыгин попридержал ее за плечи, и она снова мягко прислонилась к нему. Только сказала, вроде с упреком:

— К чему тебе теперь вспоминать, что в лесу было.

А ей уже не захотелось больше вести с ним молчаливый разговор. Да если б и захотелось — не смогла бы. Ей тоже вспомнился тот влажный темный лес, всполощенные крики не-

видимых птиц, плащ с раскнутыми в сторону рукавами, будто спящий на-мертво охотник, и ковровая бахрома свежей душистой хвои по краям плаща. При этом странная тревога охватила ее.

— Не хотите ли чаю, Иван Ксенофонович? — спросила она, неожиданно даже для себя. — Это я могу.

— Чаю? А что? Неплохо! — оживился Статыгин.

— Ну вот видите. А я боялась, вы скажете, как о вине, дескать, чай ничего не может заменить.

— Это вы говорили о вине, а не я.

— Хорошо, это я говорила о вине, какая разница. Чай сейчас будет! — и Раиса Михайловна попыталась встать. Но Статыгин опять придержал ее.

— Не уходите. Здесь у вас хорошо, посидим.

— Хорошо, посидим еще! — согласилась Раиса Михайловна, не снимая его руки со своих плеч. Но в голосе ее уже чувствовалось раздражение.

— Между прочим, заметили вы, Иван Ксенофонович, что мы с вами не умеем сидеть молча? Точнее, не умеем молчать заодно?

— Да? — спросил Статыгин.

— Да! — подтвердила она.

— Почему же? Можем и помолчать. Ведь мы люди свои.

— Свои?

— Свои! Научимся еще и молчать.

— А я не хочу учиться молчать! — Раиса Михайловна начала нервничать и сама испугалась этого. — Выйдем отсюда, Иван Ксенофонович!

Статыгин словно не услышал этих ее слов.

— Будет отпуск — поедem вместе к морю, — продолжал он. — Хотите? Будем сидеть на берегу: оно шумит, а мы молчим.

— К чему вы это, о море? — взглянула на него Раиса Михайловна.

Статыгин снял руку с ее плеча и поднял ее.

— У вас опять астма, Иван Ксенофонович?! — раздраженно сказала она и тоже встала.

Статыгин от этих ее слов и впрямь почувствовал, что сам покрывается липким нервным потом. В груди его засипело, захрипело, воздух с трудом проходил сквозь сжатые бронхи. Не только уголок за ширмочкой, но вся комната словно бы наполнилась вдруг мажорочным дымом. Дышать стало так трудно, хоть ворот на себе рви.

Статыгин горбился и растерянно озирался, как бы ища, откуда может подуть струя свежего воздуха. А можно ли чего-то хотеть, о чем-то думать, разговаривать, жить в полную силу, когда человеку не хватает воздуха?

Что стоит молодость, влюбленность, мечты о встречах, всякие иные мечты и планы, если дышать нечем? Нечем дышать! Сейчас Статыгин совершенно ясно ощутил, что сколько бы ни прошло времени, и даже если бы он затосковал, забесновался, он все равно не сможет почувствовать себя здесь ни свободным, ни счастливым. Даже розовый цвет абажура в этой комнате приводил его в смятение.

Раиса Михайловна первая вышла из-за ширмочки и, когда вслед за ней вышел и Статыгин, опустила занавеску. Выражение беспомощности и доброты исчезло с ее лица. Оно снова стало жестким, надменным. Мужская горбинка на носу обозначилась резче, высокомерно сжатые тонкие губы побледнели.

— Иван Ксенофонович, — сказала она, — не обижайтесь на меня, но постарайтесь все понять и разобраться во всем, а главное — в себе. Мне думается, мы просто выдумали все и сами себя выдумали. А когда все выдуманно, все ненастоящее, не может быть и свободного дыхания. Остальное — мелочи. Вот отчего и астма ваша...

Закрыв за Статыгиным дверь, Раиса Михайловна опустилась на стул и долго вытирала сухие глаза, словно хотела убедиться, не плачет ли она опять.

Нет, она не плакала. Но в памяти ее промелькнули снова разные случаи, связанные с ее маленькой женской трагедией. И когда, спустя некоторое время, в комнату кто-то осторожно постучался, она крикнула резко, властно:

— Не входить!

Недели через две Статыгин позвонил Райковой по телефону из дому. Сняв трубку и набрав номер, он ждал, что сначала к аппарату подойдет кто-нибудь другой. Но вот раздался щелчок, и он услышал до боли знакомый ее голос:

— Говорите!

Руки у него дрожали, а бронхи тотчас начали сипеть и хрипеть.

— Говорите, слушаю вас!

Статыгин, задержав дыхание и не промолвив ни слова, осторожно, воробато положил трубку на рычаг.

— Что ты чудишь? — сказала ему Полина Васильевна. — Кому опять голову морочить?

Тогда он заговорил, и в его голосе, уже чистом, без сипения и хрипа, прорвалась давно сдерживаемая ярость:

— Я никогда в жизни никому не морочил голову! Разве что тебе одной! Но ты разбираешься в этом, как...

Началась семейная сцена.